

Бор. ПИЛЬЯК

Том III

РАССКАЗЫ

ИЗДАНИЕ АВТОРА
Никола-на-Посадьях

Магнезит

1155

КНИГА № 3

Право перевода закреплено за автором.

По всем делам, связанным с названным правом, следует обращаться к автору по адресу: Коломна, Московской губ., Никола-на-Посадьях, Б. А. Пильняку.

Бор. ПИЛЬНЯК

Том III

РАССКАЗЫ

ИЗДАНИЕ АВТОРА
НИКОЛА-НА-ПОСАДЬЯХ

РАССКАЗЫ

Отпеч. в колич. 5000 экз.
в типографии Госиздата
Москва, Пятницкая, 71.

Издание выпущено
под общим наблюдением
Д. К. Богомильского.

Главлит. № 15532.

НАСЛЕДНИКИ

PACCKA3PI

I.

С Соколовой горы, говорит предание, пришел Стенька Разин,—и уже в книгах есть о том, что оттуда же подступал Емельян Пугачев. Стоит Соколова гора над Волгою и степями, хмуро оборвась в Волгу, разбойную реку. Стоит город над Волгою. У Глебычева оврага, около Старого собора (стоит у Старого собора пушка, Пугачевым оставленная), в старом городе, на взвозе от Волги, застряв от позапрошлого века, стоит старый дом с колоннами по фасаду, окрашенный охрой. Некогда в доме давались балы и жил именитый дворянский род Растворовых, последние двадцать лет в доме, вместе с домом, умирала старая хозяйка его, Ксения Давыдовна, старая дева. В тысяча девятьсот семнадцатом октябре она умерла, и теперь в доме, сыром, холодном, разваливающемся, раскраденном, живут — наследники. Разметались было по лицу России, строили свою жизнь в Петербурге, Москве и Париже, двадцать лет дом пустовал, умирая, — пришла революция, взметнулась народная вольница: сородичи Растворовского рода собрались в свое гнездо, — от революции, от голода.

Над степью, Волгой и городом творились метели, скакали снежные кони,—творилась революция, такая же, как при Стеньке Разине, разбойная — вольная вольница. Комнаты в доме были стары, темны, сыры, холодны. За окнами

был Старый собор и под взвозом лежала Волга, в белых снегах вся, с пароходами у пристаний, в семь верст шириной.

Сначала в доме жили коммунисты. Но, верно, коммунизм слишком несовершенен,—разгородились, окопались каждый в своей комнате, каждый со своим горшком и самоваром. Живут в доме злобно, скучно, мелочно, ненужно, проклиная революцию и жизнь, живут оторванные от жизни, вне жизни, обернувшись к старому и ожидая это старое.

II.

В семь часов, когда еще синяя муть, просыпается генерал Кирилл Львович, надевает бухарский халат с кистями и, запалив свечку от лампады, идет в нужник. В нужнике холодно, клубит пар, на стульчаке, как в трактирах, грязь и ледяные глетчеры, генерал хрюпит строго, зажимает нос, затем будит жену и шипит:

— Анна! Это черт знает. Этто чорт... Спроси у твоих родственников, кто так портит ватер?— ведь у нас прислуки нет!

В комнате тесно наставлены вещи. Это и спальня, и гостиная, и столовая. В приземистые оконца, в тяжелых шторах, идет синяя муть.

— Ведь у нас прислуки нет! Чорт. Сегодня ставить самовар твоя очередь. Гильз нет?— Генерал ходит по комнате с руками назад, пальцы его в бриллиантах.

— А тебе итти в районку и за хлебом,—говорит Анна Андреевна.

— Знаю. Оставь пожалуйста. В доме живет четыре семьи и не могут сорганизовать, чтобы по очереди ходили за хлебом. Дай лист бумаги, чернила и кнопки.

Генерал садится к столу и пишет:

„Господа! у насъ нѣть прислуки, мы
сами должны убирать за собою. Не

всякій можетъ садиться орломъ,
и потому прошу быть аккуратнѣе.

Кириллъ Лежневъ“.

Кирилл Львович—не наследник, из рода Растворовых его жена, он приехал с нею. Кирилл Львович берет свое объявление и вешает его у дверей нужника. Затем опять ходит по комнате, поблескивая бриллиантами, и говорит ворчливо:

— Чорт знает. Сергей с семьей занимает три комнаты, а мы одну. Я уеду отсюда. А еще родственники. Гильз нет?

Анна Андреевна —тихая, усталая, слабая — говорит устало:

— Знаешь же—нет. Сейчас поищу окурки. Лина иногда бросает не вывернутые.

— Ишь, какие буржуи: окурки бросают, прислугу держат!..

В темном суставчатом коридоре навалена рухлядь, потому что коридор никто не желает убирать. Анна Андреевна роется в бумагах и соре около печки Сергея Андреевича (жена его—Лина), отворяет дверцу и видит, что прислуга Леонтьевна, циклоп одноглазый, положила дрова березовые,—когда условлено было топить сначала гнилушками от беседки. Генерал сладко курит папироску „своего“ табака, затем идет на двор за дровами, приносит гнилушки. Самовар уже готов, генерал пьет чай, много и долго, Анна Андреевна топит в коридоре свою печь. Светлеет медленно, по-зимнему, мутно. За стеной уже проснулась семья Сергея, заведывавшего отделением в министерстве, и слышно, как Лина говорит детям:

— Кира, ты уже достаточно съел белков, возьми углеводов.

— Карточки?

— Да.

— А зиров?

— Ты уже достаточно съел жиров.

Генерал хитро улыбается, сумрачно ворчит:

— Не едят, а питаются!.. — и отрезывает себе кусок сала, все с белым хлебом, чай пьет с солодским корнем и сущеной дыней.

Дом просыпается медленно, по коридору, около открытой двери генерала, ходят с ночными горшками, пустыми самоварами, с зубными щетками и полотенцами, полуодетые и заспанные. Генерал пьет чай, наблюдает и злится. Бодает мужскими сапогами циклоп-Леонтьевна, прислуга Сергея, с биржи, — смотрит хозяйственным своим одиноким глазом в печку Анны Андреевны и говорит:

— А дров-то вы как следует наложили,—много.

Генерал отвечает из своей комнаты:

— А вы березовые взяли!

Циклоп всыхивает, бьет себя по ляжкам,—происходит очередной скандал.

— Как?! Мне не доверяют, за мной следят! Лина Федоровна, пожалуйте расчет, я в биржу пожалуюсь!

Лина Федоровна кричит от своей двери:

— Как?! Ей не доверяют, за ней следят! У нас в доме шпионаж! А еще интеллигентные люди!

— А дрова-то все-таки березовые!

— А еще интеллигенты!

Генерал появляется в коридоре и говорит строго:

— Не нам рассуждать, Лина Федоровна. Мы здесь не наследники. Вот мне очень странно, почему Сергей занимает три комнаты, а Анна одну,—очень весьма странно!

И скандал растет. Генерал одевается и уходит, довольный, в очередь за хлебом. Лина стремится к мужу.

Муж идет объясняться, генерала уже нет, он говорит с сестрой, Анной Андреевной.

— Это невозможно, это недопустимо, это сырь!

— Да пойми же ты, что все это из-за скурка,—отвечает тоскливо Анна.

Лина сидит наверху у Екатерины и рассказывает ей все во всех подробностях.

Анна идет к Константину, лицемисту, младшему брату. Константин говорит о том, что он занят и сейчас сядет за стол писать, но вскоре направляется к Сергею.

— Занят?

— Что?—занят, да.

— Позволь прикурить.

Закуривают махорку, которую называют „Кэпстэн“. Молчат.

— А то может шахматишки?—говорит Константин.

— Да нет, собственно,—отвечает Сергей.

— Ну—одну?

— Ну, разве одну? Только одну!

Садятся и играют. Константин одет в потрепанный свой лицейский мундирчик, на пальцах у него, как и у генерала и Сергея, — кольца, на шее старинная золотая цепочка: дело в том, что, боясь обыска и разграбления, все драгоценности наследники разделили и носят на себе. Играют одну партию, затем вторую, четвертую, шестую,—курят, спорят, вновь условливаются не брать ходов. Генерал приходит с базара из очереди и прохаживается по коридору, заглядывает в дверь, наконец решается и входит.

— Молокососы, играть не умеете.

— Как умеем.

— Ну-ну! Ты не сердись, не сердись!.. Погорячились—и будет. Если я виноват, — извини старика. Я Кирку за газетой послал, — дал ему двугривенный на подсолнухи.

— Да я и не сержусь.

— Ну, вот и отлично. Вы бросьте этого персидского шаха. Давайте преферансишко.

И садятся на весь день за преферанс, прерывают только затем, чтобы сходить в свои комнаты пообедать, у Сергея на второе „холодец“ из верблюжини. Когда Сергей ремизится, он говорит:

— А все-таки, Кирилл Львович, у вас отвратительный характер!

— Ну-ну, молокосос!

Денег нет. Опекуншей над владениями назначена Катерина Андреевна. Мужчины теперешний строй не признают. Лишь у Сергея остались деньги от проданного перед революцией имения (не даром у него прислуга).

У Катерины сидят две девушки, принципиально брошившие — одна гимназию, другая консерваторию, говорят вяло и помогают чистить картошку. Проходят Анна и Лина, и все вместе спускаются в кладовую, роются в старинных платьях, оставшихся от бабушек, в разных фижмах, робонах, тюрюрах, откладывают в сторону серебро, фарфор, бронзу, — после обеда придут татары. В кладовой пахнет крысами, стены уставлены ящиками, баулами, чемоданами, висят огромные ржавые весы.

К приходу татар собираются все. Мужчины садятся в стороне. Татары — двое их — здороваются со всеми по очереди за руку. Генерал сопит. Татарин-старик, в новеньких галошах на валенках, говорит Катерине:

— Как подживаете, барина?

Генерал закидывает ногу на ногу, качает ногой, говорит строго:

— Будьте любезны, — ваша цена.

Татары перебирают старье, хают хладнокровно, назначают несуразные цены. Генерал хохочет и пытается острить. Катерина злится, говорит наконец:

— Кирилл Львович, так же нельзя!

Генерал вскакивает, отвечает:

— Ну, да! Я не наследник! Я могу уйти.

Генерала успокаивают, торгуются с татарами, татары небрежно вскидывают на руке — старинные платья с кружевами крепостного плетения, старинные ручной работы шандалы, подзорную трубу, ацетиленовый фонарь. В приземистые оконца заглядывают сумерки. В морозных сизых сумерках, точно через толстейшее стекло, виден Старый собор, помнящий Стеньку Разина, перезванивают колокола. Наконец татары хлопают по рукам, проворно-привычно свертывают купленное в кокетливые тючки, платят керенки из пузатеньких бумажников и уходят.

Тогда наследники делят деньги. Сидят в гостиони. Оконца в шторах; висят в марле (лет двадцать не снималась марля) кенкэты и люстра, портреты. Стоит желтый, дубовый рояль, плюш на мебели вытерся, полы сел. В комнату идут полосами синие сумерки. Наследники одеты экзотически: генерал в халате, расшитом золотом с кистями; Сергей в черной николаевке, с бобром; Лина в душегрейке на зайце; Катерина опекунша, старшая, с усами — в осеннем мужском пальто, нижней юбке и валенках, — в доме холодно. На всех надеты драгоценности, — кольца, серьги, браслеты, колье.

Сергей говорит нехрабро:

— Теперь трудное, в сущности, время, — я предлагаю разделить сумму по количеству едоков.

— Я не наследник, — вставляет быстро генерал.

Константин отвечает с холодной улыбкой:

— Я не разделяю социальных взглядов. Надо разделить по количеству наследников.

Спорят. В окна идет синий вечер, перезванивают колокола. Соглашаются трудно, Катерина приносит само-

вар, все идут за своим солодским корнем и хлебом, пьют чай, довольные, что не надо ставить самовара.

Вдруг, неожиданно-тоскливо и потому хорошо, говорит генерал:

— В том тюрнюре, что сейчас продали, я поручиком-женихом встретил впервые тетушку Ксению... Если так будет еще... Если бы мне сказали, что большевики пробудут еще год,—я застрелился бы. Ведь я страдаю. Ведь мне очень больно. А я старик... Не стоит жить.

И были очередные слезы. Плакал старчески генерал. Плакала, всхлипывая басом, усатая Катерина. Плакала Анна Андреевна. В углу, обнявшись, стояли две девушки и тоже плакали, — потому, что их молодость и пьяное вино девственности остались за бортом.

— Если бы возможно было, — говорит Катерина, — я бы стала расстреливать, всех.

Вошли дети Сергея, Кира и Ира. Лина сказала:

— Дети, возьмите себе белков.

Кира намазал хлеб маслом.

В небе взошел месяц. Звезды стали четкими, чертыми. Снега сини. Волга пустынна. Место у Старого собора глухо, безлюдно. Мороз кует, сковывает. Барышни Ксения и Елена, Сергей, генерал — идут к дому, кататься, со взвода на салазках. Константин уходит в город, в клуб коканистов, — коканинется, говорить сусальные пошлости и целовать руки женщин, пропахших телом. Леонтьевна, прислуга из биржи, циклоп, ложится в кухне на лавку, молится перед сном и засыпает, почив от дня, — из биржи она, властная, степенная, скандальная.

Генерал стоит у крыльца. Сергей втаскивает наверх салазки, садятся трое в ряд, — Ксения, Елена и он, — и мчатся по скрипучему снегу вниз, на волжский лед.

Санки летят стремительно, и в этом стремительном лете, в снежных брызгах и скрипе, в колком, захватывающем дыхание морозе, — Ксении грезится счастье: — обнять, обнять мир! благословенна жизнь!

Мороз жестокий, жесткий, парной. Генерал хохлится, как воробей, мерзнет, кричит с крыльца:

— Сергей! Сегодня такой мороз, что обязательно лопнут водопроводные трубы. Надо установить на ночь дежурство.

Быть может, Сергею, тоже почти старику, в быстром саничном беге грезится счастье, — он кричит:

— Пустяки!

И вновь стремительно катится вниз от Старого собора, на Волгу, за барки и пароходы, к простору синих льдов, горящих зыбкими снежинками.

Но генерал уже взволнован. Он идет в дом, поднимает всех на ноги:

— Господа! Если мы не будем понемногу спускать воду, водопровод замерзнет, трубы лопнут. Мороз — 27.

— Но ведь кран в кухне. Там спит Леонтьевна, — говорит Лина.

— Разбудить!

— Нельзя!

— Ерунда. — Генерал идет в кухню, тормошит Леонтьевну, объясняет про водопровод.

Леонтьевна вопит:

— Я в биржу пойду! Не дают спать! Лезут к нераздетой женщине.

Лина лепечет за Леонтьевной:

— Она в биржу пойдет! Не дают спать! Лезут к женщине...

Прибегает Сергей.

— Оставьте, пожалуйста. Я отвечаю. Дайте Леонтьевне спать!

Генерал говорит обиженно:

— Конечно, я не наследник.

Над степью, над Волгой, над городом идет ночь, идет мороз. В мезонине тоскуют Ксения и Елена. Генерал не может уснуть. Константин приходит поздно, бесшумно пробирается к Леонтьевне. В окна дома идут синие лунные пласти света.

Водопровод за ночь промерз и лопнул.

МЕТЕЛЬ

ДЛЯ ТЕМ

Никто не знает, как правильно:

мяталь или метель.

Глава первая.

Дьякон: Оставь, Николай! Оставь балаболство!

Сын: А позвольте спросить, папаша, чем, к примеру, Магомет хуже нашего бога? Давайте, папаша, рассудим. Японцы не хуже нас, а у них свой бог, забыл, как звать, идол такой. Вот у нас бог—православный, а у немцев—лютеранский. Все Иисус Христов, а чин ему разный.

Дьякон: Оставь, Николай! Оставь балаболство! Кто больше жил—ты или я?

Сын: Вы, папаша. Ну-к-что ж?

Дьякон: Ну, я больше жил, и боле тебе и знаю. Не глупее тебе.

Сын: Эти разговоры вы, папаша, тоже оставьте. Ваш дедушка жил боле вашего папаши, и умнее его. Ваш папаша жил боле вас, и умнее вашего. Вы жили боле мене.—А мои дети будут еще того дурее.—Таким манером весь народ скоро в дураки выйдет,—а пока этого не видать. Я так полагаю, что ежели бы Лазарь теперь воскрес, он первым бы делом под вагончик попал.

Дьякон: Пошел вон отселева, ссукин сын!..

Ночь. Баня: холодно в бане. Дьякон с котом на печи, в тулупе и в блохах. Ночь—мрак. Баня—на задворках Спасской, что на Житной, у Кремлевского пролаза, церкви: святой Сергий Радонежский перенес отсюда монастырь на Реденеву Луку, там и посох его хранится. Дьякон от семьи в баню переселился, на задворки за Спасом, под самую кремлевскую стену. На кремлевской стене—кропива растет, это видно днем, пожухла теперь крапива.—Март или октябрь—все равно дьякону: мартовским ветром прошел октябрь по земле,—в марте снег еще лежит, посинел лишь от зимних стуж, пожухнул, конопынный, как старик-старообрядец, а из-под него текут уже студеные ручьи, звонкие, светлые; это происходит так: снег буреет и рыхнет, копоть всей зимы выползает наружу, на него (в полях на снегу заячьи орешки валяются—крестьянские ребятишки собирают их, чтобы играть), внизу у земли снег прессуется в голубой ледок—и вот из него, из голубого ледка, течет студеная прозрачная вода, а над всем синее небо, теплое и звенящее жаворонком—днем, а ночью—в путь пошли миллионы новых звезд, хрустких, как ледок под ногою, и лай собачий слышен на десять переулков. А в октябре: дождь идет, как дьякон утром с перепоя в церковь на обедню, и夜里 пахнут лошадиным потом.—Ночь. Баня. Октябрь. Первый снег западал с вечера. Первая метель. В первый снег утром,—мягко тикают часы, по-зимнему, и за окном, на березе должна кричать сорока, осыпая снег с ветвей. Ночь. Метель. Баня: холодно в бане, в бане нет часов. Дьякон с котом на печи.

Дьякон: Господи! Слова дай, слова дай, господи!

Дьякон от семьи в баню переселился, от мира в баню ушел, поселился с котом, кота учить стал справедливости,

дьякон стихи писать начал. Господи, как изъяснить все, как найти слово, чтобы мир поставить иначе?—Мальчиком по садам лазил; оболтусом поступил в управу, в писцы; водку тогда хлестали—он, ветеринар Драбэ, да ветеринарный дворник, на управском дворе песни пели. Председатель управы пение слышал: этим и определилась карьера в дьяконы, председатель облагодетельствовал дьяконским чином, тут вот у Спаса, что на Житной, у пролаза кремлевского; ветеринар Драбэ все по-прежнему водку хлестал в ветеринарной амбулатории на управском дворе,—у дьякона же дьяконица стала, ребята пошли, водку хлестал с духовством. Растет жизнь иного дубом, дубом и валится в старости, дуб не русское дерево, другие жизнь свою белой березкой растят, в городе жизни творились—ветлой, осиной, осокой, волчажником, кошачьими слезами,—дьякона нова жизнь корявой ветлой, живучей, как лабазная кошка, прошла: раз обломи ветку, сломится, новые отпрыски даст, зарубцуется, два обломи паршивую ветлу, сломится, новые отпрыски пустит,—заживет!.. В водке зеленые черти и змеи живут: из-за рясы поповской мир тесен, как московский кремль весь в маковках золотых, Четы-Минеи из-за маковок на пол-неба стали—святыми, писанными Прокопием Чириным: в Спасской церкви записи церковные и выписи хранились от семнадцатого века, в истории Карамзина церковь эта и город много раз упоминались; записи от семнадцатого века старые были, на истлевшей бумаге, потрепанные, в них Карамзин подтверждался, дьякон тетрадку купил в клеенке, за сорок копеек, переписал начисто, залихватски, как бумаги в управе, старые записи как и—подлинник выкинул; в записях о воеводе Никите писалось, склеп под церковью должен был быть, дьякон всю церковь облупил кругом ломом, хода искал, и нашел-таки: в поповом погребе дыры проделал, кирпич дьякон разобрал, две каменные гробницы нашел, лазил к

гробнице на брюхе; дьякон в Москву, на Софийскую набережную написал письмо к археологам, чтобы приехали:— ему оттуда ответили,— что сфотографировал дьякон гробницы, чертеж и план приложил бы,— лето было, солнце кололось на кирпичах кремлевской стены, погреб батюшка проветривал,— где дьякону подземелье сфотографировать?!— Осень пришла, батюшка капусту рубил, в погреб капусту в бочках ставил, дыру в погребе велел дьякону заложить. И на этом второй раз сломили ветлу, чтоб зарубцеваться ей зеленым водочным змеем. У дьякона бородка была в цвет кожи, лицо из Прокопия Чирина, и только глаза—не зрачками, а красными веками на синих белках, готовыми лопнуть,— про чертей говорили, про ночи и бани. Это уже конон, что у дьяконов в волосах перины.

Дьякон: Господи! Слова дай, слова дай, господи!..

Этим сломили ветлу последний раз. Как рассказать дьякону? Дьякон от мира в баню ушел, есть ему туда приносили, на печку забился, слова искал. И такой был злой старичишка, матершинник, задира, распоряжался по дому из бани.

Так.—Вот.—

— Сколько тысяч лет тому назад и как это было, когда впервые доили корову? и корову ли доили или кобылу? и мужчина или женщина? и день был или утро? и зима или лето?—дьякону надо знать, как это было, когда доили,— первый раз в мире,— скотину. Лес был кругом зеленый, и мурава зеленая, шумел лес. И люди были: мужчины и женщины, с гривами рыжими и с руками, как корень можжухи, люди были голые, в овечьих мехах, перекинутых через плечо. Кто же—мужчина или женщина? Каждый в младенчестве сосал молоко матери, но каждого возмужавшего

затошнит от женского молока: до того как впервые доили корову, не знали вкуса молочного. Вот, собачье молоко, говорят, вкусное, а не попробуешь, затошнит дьякона. Как же впервые стали доить, когда тошнит,— кто же? Женщина, должно быть, для ребенка, должно быть, и тоскливо женщине было, должно быть, ибо, как бы томилась женщина, если бы ее доили? И корову ли доила в первый раз женщина или кобылу? Татарин конину любит, а дьякон не может конину есть—тошнит. Доила женщина, должно быть, тогда—кобылу. В тот день пришел вечер, и солнце садилось на западе, и мальчик играл с жеребенком, и кругом был лес, дубовый, зеленый, шумел лес. Люди были голыми. Никто никогда не узнает, как, когда и где впервые доили скотину. В тот день, по дьякону, произошло „величайшее завоевание человеческого прогресса“. Потом приходили соседи посмотреть, позаимствовать, поучиться и у той, кто впервые доил скотину, на роже было всегдашнее, извечное человеческое,—по-бабы глупое,— самодовольство изобретателя: это, должно быть, могло быть и так. Каждая женщина—мать и любовница: как примирить?

Так.—Вот.—

— Целое тысячелетие, застряв, как застrelают от молодости во рту старика желтые клыки, пожелтевшие от старости, страшные, паникалият миру, России в частности, люди в ассиро-авилонских костюмах, России, насквозь прожеванной аржаным,— люди в ассиро-авилонских костюмах, волосатые, в домах византийской архитектуры, заставленные библиями, апокалипсисами, Четъи-Ми-неями, иконостасами, ризами, рясами. Монастыри, погосты, приходы,— церковными маковками небо застлали. Скотий бог—Егорий—Георгием Победоносцем помчал, хвост заслав. Патриархи, синоды, епископы, попы, дьякона, ста-

роста—пятаками бряцали в выписях, записях, прописях, алтарями, притворами, папертями.

— Черная дьяконова ряса полами
— разбрываилась по облаками, в ме-
— тели!.. Метель! Им, не верующим,
— страшно, что есть еще церкви.

— Тысячелетьем из перелеска в лес,
полями, суходолами ползет Россия, прожеванная аржаным,
в овчине, с телятами, овцами, лошадьми, коровами, по-
верьями, приметами, песнями, закващенными мистикой
крови и тем, что каждая баба—любовница и мать одновременно. Столетьями на скамеечках у ворот лужатся
подсолнухи, в пестрых юбках баб, а на задворках дзеня-
кает в подойник молоко, чтобы потом восставать на пя-
терне, на блюдце с пословицей: „Хлеб-соль ешь, а правду
режь“, перед ртом, дудочкой сложенным. Валенки, зава-
ленки, плетни, занавески, закуты, юбки, штаны, рубашки,
чашки, ложки, коромысла,—запутали мир до бессмыслицы.
Три столетия назад, здесь, у Спаса, татары проломили стену,
пролаз памятником остался,—а воеводу Никиту вновь заму-
рили, ибо надо солить попу капусту! На столетья болотными
лихорадками, умственным (от слова „умственный“) навожде-
нием, дубьем, стоеросом, мгновением в вечности, возникают
империи, и в трудный час, поэтому люди спасаются конят-
ником, которого не едят лошади, и желудом дубовым. Европа
стала на столетие—гуманистом в жилетке и в воротничке,
Россия—святым зверем стала—в красной рубашке из-под
жилета. Из столетий в столетия, поэ мой—возникают паро-
возы, тракторы, аэропланы, дредноты, радио, аллитерируясь
на р. Из столетий—в столетия поэ мой,—сохи и бороны
пашут: борона тоже р затаила в себе. Из столетий в стो-
летье эпопеей восстала Россия корягой мужжухи, как руки
дикарей, национально-интернациональной властью, святым
зверем в пределах народности русской и русской терри-

тории: Россия переписала церковные Спасские записи с семнадцатого века в тетрадь сорокакопеечную, песни ме-
тельные, метелицы, туманы, мглы, зги по России
Георгий Егорием мчит. А корову (или кобылу?) ведь доили,
ведь доили когда-то первый раз!.. С божьей помощью,
древен мир,—древний, дряхлый, седой,—древен и сед. Ах,
какою седой ветлою, сколько раз сломанною, стал человечий „прогресс“, чорт бы его побрал! Чугунной пятой
Аттилы прошел по лицу господин прогресс от первой
доеной коровы до колыбелей российских метелиц, став-
ших корягой, как руки дикарей... И из муты метельной
опять восстают паровозы, дредноты, культура.

Дьякон: Господи! Слова дай, слова дай, господи!..

Так.—Вот.—

— Метель. Холодно в бане. Октябрь. За
баней—стена кремлевская. За Спасом—базар, ряды тор-
вые. Кремль, базарная площадь, улицы, переулки, тупики,
каменные дома, деревянные дома, лачуги, церкви,—там,
вверху, в ветре,—воют крестами.

Ночь. Муть. Мгла. Зги: зги все же видны, синими
огнями в черной муты они. В домах: лежанки, голландки,
русские печи, железки; в домах коридоры, прихожие,
спальни. За городом, за кремлевским обрывом к реке—
поля: конским потом пахнет поле по осени, пустынно и
мертво ограбленное рожью поле. Первый падает снег.
Как—неповторяемого—не повторить Пушкина? „Мчатся
тучи, вьются тучи. Невидимко луна освещает снег ле-
тучий. Мутно небо, ночь мутна...“ Впрочем, не было луны;
впрочем, были не только муть, но и мгла, и мгла, и зги.—
Город был. И как не рассказать,—нерассказываемое,—о
том, как в метелях, в снегу, в вое ветра, в мчании, скакче
и пляске —

— (я близорукий, на очки снег налипает, очки леденеют, а без очков: я не вижу или вижу одну лишь зеленую муть, бьет снег по открытым глазам, из муты вдруг вырастают снежинки, все теснее и больше, чем сеть, и жмуришься, и надо руки вперед протянуть, а дома, а церкви, а ветер, а снег—над тобою склонились. Выше, выше!)

— в метелях, в снегу, в вое ветра, в мчании, скачке и пляске —

— вдруг —

— возникает:

— абсолютный покой, тишина, неподвижность, недвижность,—недвижность—в стремлении неистовом. Это—гипотеза вечности. Это мне—революция, здесь мне ползет и Китай, и „баба с мордовским лицом“: в скачке, плясании, свисте—вдруг каменная баба с мордовским лицом. Все мы умрем, конечно, оставшись истории мордою.

— Малиновая дьяконова ряса—по облакам, в метели — разбрывалась полами!

— мне, неверующему, страшно, что есть еще церкви.

— А дьякона нет уже в бане, ибо дьякон, конечно, ведьмадь.. — —

Сын: Папанька! дров тебе принести! Виши, как метет-то. Замерзнешь!

Дьякон: Пошел вон, сукин сын!
Сын: Вот вы, папанька, какой! Богу, говорите, предались, в баню запрятались, а сами ругаетесь, как старый хрыч.. Маманька велела сказать строго-на-строго, что не топимши вам здесь оставаться нельзя, чтоб дурака не валяли, в избу шли ночевать.

Дьякон: Пошел вон, сукин кот!

Сын: Вот вы, папанька, какой!.. Ежели я сукин кот, то вы, стало быть, самый главный котище!

С печки к двери от дьякона к сыну пролетели: валенок, картошка вареная, мочалка, кирпич...

Глава вторая.

Камертон—охотничьим рогом.

— До-до! до-соль! до-дооо!..

В городе хоронили общественного деятеля. Это было давно. За гробом шла толпа. Общественный деятель был просто зубным врачом из местных купцов; за гробом шли те, у кого поредели зубы от щипцов и словопрений зубного врача. Гроб несли по Рязанской (теперь Октябрьской) улице. — Земские начальники Еруслан Лазаревич Кофин и Ипполит Ипполитович Воронец-Званский—ночью пьянистовали на вокзале, утром возвращались на одном извозчике с девочками вчетвером домой: — процесии встретились на Рязанской улице у заставы; у заставы стоял городовой,—и растерявшиеся крикнул городовой похоронной процесии, глазами вепря:

— Своорачивай! Виши,—господа земские начальники едут!..—потому что ехали господа земские начальники „неудобно выпимши“, а несли—зубного врача из купцов или (сложнее)

купца из зубных врачей—неудобно
мертвого!..

Охотничим рогом:

— До-до!.. До-соль! до-дооо!

Еруслан Лазаревич, конечно, кличка,—в действительности:

Лазарь Иванович Кофин.

Время действия—революция.

Место действия—город.

Действующие лица—врачи, педагоги, дамы.

„Товарищам третийским судьям—от ветеринарного врача Сергея Терентьевича Драбэ.

(Судьи: Белохлебов, Николай Иванович, врач; Крайнев, Матвей Андреевич, педагог; супер-арбитр—Воронец-Званский, Ипполит Ипполитович, народный судья.)

„Я знаю два факта.

„Первое. Моя жена, Анна Сергеевна, передала мне: во вторник, 17-го, на уроках в гимназии в большую перемену ворвались к ней очень возбужденные Галина Глебовна Кофина и Роза Карловна Гольдиндах, и обе просили оградить их честь. Они хотели сначала итти бить меня, но потом раздумали, обратились к моей жене и рассказали ей следующее: в спектакле, который предполагался, должны были участвовать я и Роза Карловна; ее муж, Лев Семенович Гольдиндах, протестовал, не желая, чтобы Роза Карловна играла со мной, а когда Роза Карловна отказалась, он принял „решительные меры“ и рассказал

Кофиным, что я в Березняках, при нем и при докторе Белохлебове, говорил о связях Галины Глебовны и, в частности, о моей с ней связи, и что в Березняках у Гликерии Михайловны хранится—„вещественное доказательство“—письмо мое к Гликерии Михайловне, где я отрицал семейные устои; при этом, уже кроме того, что я говорил о связи с женщиной, Галина Глебовна клялась честью, что я, говоря о моей связи с нею,—врал:—одновременно с этим Лазарь Иванович сказал, что я сообщил ему о том, что целовался с Луниной и Розой Карловной, при чем Лазарь Иванович привел даже разговор мой о Розе Карловне, где я, сказав, что целовался, добавил, что могла произойти и связь, если бы не делал подразделения еврейских женщин на евреек и жидовок,—при чем: все, что я говорил,—заведомая ложь. Кроме того, я говорил Лазарю Ивановичу, что не уважаю женщин, что всякую женщину я могу заставить мне отаться и, в частности, если бы я захотел, мог бы овладеть Марьей Васильевной Белохлебовой. Кроме того, я, якобы ухаживая за Галиной Глебовной, одновременно писал стихи и дочери ее Варе.

„Второе. Лазарь Иванович пришел к доктору Белохлебову (должно быть, после воскресенья пятнадцатого?) и сказал ему, что мною переданы ему, Лазарю, возмущившие его вещи, что я изнасиловал Лунину, целовался с Розой Карловной, и что он, Лазарь, решив оградить честь женщины, реагирует и т. д.—подробностей я не знаю, ибо доктор Белохлебов мне рассказал вкратце. В частности, о письме к Гликерии Михайловне: доктор Белохлебов слышал от Гликерии Михайловны, что она и не знала, как много во мне хорошего и что письмо это—объяснение в любви.

„И я почел долгом своим вызвать Лазаря Ивановича на третий суд,—почему Еруслана Лазаревича, это будет ясно.

„У меня есть два факта—это то, что Галина Глебовна и Лунина пришли объясняться к моей жене, и что Лазарь Иванович пришел плакать в жилет совершенно постороннему человеку — доктору Белохлебову,—и есть содержание этих фактов. Оценку этим фактам и их содержанию должен дать суд.

„Я должен говорить о содержании фактов.

„1) Лев Семенович Гольдинда передавал, что я недостойно отозвался о жене Лазаря Ивановича—Галине Глебовне и что я говорил о связи с ней.—Да. Помнится, что говорил. Да у меня была связь с Галиной Глебовной, и есть сему доказательство, хоть она и отрицает факт. Да, я позорно вел себя, сказав об этом.

„2) Жена передала мне, что я сообщил Лазарю Ивановичу, будто я целовался с Луниной и Розой Карловной; доктор Белохлебов передал мне, что я сообщил Лазарю Ивановичу, будто я целовался с Розой Карловной и изнасиловал Лунину. И это неправда, потому что я не говорил этого Лазарю Ивановичу. У меня не было даже с ним разговора о Луниной, но был разговор о Розе Карловне. Я колеблюсь, передать ли его или нет, но, кажется, должен. В пятницу тринадцатого утром, я заходил к Лазарю Ивановичу, мы вместе были у часовного мастера и затем шли: он—в воинскую комиссию призываться, я—в амбулаторию. С Лазарем у меня установился тон вести порнографические разговоры, я точно не помню, как разговор пришел к Розе Карловне, кажется, со спектакля (от которого до этого я отказался), к тому, что мы вместе приходили и вместе возвращались с репетиции,—и Лазарь Иванович советовал мне поухаживать за Розой Карловной, я упомянул о муже ее Льве Семеновиче. Лазарь нашел это неважным,—и—да—я пустился в философию о еврейках и жидовках. И это все. Я колебался передать этот раз-

овор, потому что я совершенно бездоказателен, и поэтому пользуюсь оружием Лазаря Ивановича.

„3) Лазарь Иванович говорил, что я не уважаю женщин.—Очень возможно, должно быть, это так. Должно быть, я и говорил ему, что всякую женщину можно заставить отиться: главным образом так говорил о женщинах с Лазарем Ивановичем, ибо, как сказал уже, мы с ним вели только порнографические разговоры.

„4) Стихи в альбом к Варе и письмо ко Гликерии Михайловне будут функционировать на суде, суд увидит что на меня клевещут.

„Я сказал все так, как я знаю. Ту вину, что я принял на себя,—пусть осудит суд. Самый тяжелый для меня пункт второй, ибо это—клевета. Передо мной два варягита: в первом исходную роль играет: спектакль, во втором—возмущение Лазаря Ивановича; в первом я целовался с Луниной, во втором я ее изнасиловал; в первом я подрывал семейные устои письмом в Березняки,—во втором—адресатка нашла во мне что-то хорошее,—третьим же варягитом будет подлинник письма.

„Я разберусь в каждом варягите отдельно.

„Если бы не было спектакля, господин Гольдинда не взревновал бы и не рассказал бы о Березняках, Лазарь Иванович не рассказал бы о Розе Карловне и Луниной, Галина Глебовна не рассказала бы о том, что связи со мной у нее не было, и о стихах к Варе,—и, стало быть, моей жене не был бы устроен скандал, когда дамы собирались сначала итти бить меня, но, продумав, пошли к ней. Это было во вторник, 17-го, а за шесть дней до этого, в среду, 11-го, я отказался принимать участие в спектакле,—куда же выпали эти шесть дней, за которые я дважды встречался с Кофним, в пятницу утром и в воскресенье вечером у Белохлебова за преферансом.—Ведь, если Лев Семенович вынужден был говорить о Бе-

резняках, он, стало быть, говорил до среды, одиннадцатого и, стало быть, та или иная реакция должна была быть по меньшей мере в пятницу, когда я заходил к Лазарю Ивановичу.—По здравому обсуждению—надо было устроить скандал жене, женщине, т.-е. быть в самое интимное—и затем: и Гликерия Михайловна, и Анна Сергеевна (Гликерия Михайловна — потому, что я ей написал, Анна Сергеевна — потому, что я подорвал устои), и Галина Глебовна, и Лунина, и Марья Васильевна, и Роза Карловна и—даже!—Варя!—все! все оклеветаны мною!..

„И я прошу прочитать любовное письмо ко мне Галины Глебовны Кофина, чтобы установить истину моих слов. Я прошу прочитать мое письмо к Гликерии Михайловне, чтобы установить истину. Я прошу прочитать стихи в альбоме у Вари, чтобы установить истину.

„И я должен сказать, что было пятнадцатого, что краем уха слышал тогда же доктор Белохлебов, что побудило меня сейчас вызвать к суду Лазаря Ивановича. Пятнадцатого вечером, за ужином у доктора Белохлебова, Лазарь Иванович показалось, что я сказал на ухо доктору что-то недолжное про Лазарево семейство и, в подвыпивши, я называл его все время Ерусланом Лазаревичем,— и после ужина, наедине в другой комнате, Лазарь Иванович мне заявил, чтоб я не смеялся над ним, что его общественное положение и мое—„две разницы“, что я дождусь, что он сделает скандал, так что меня изгонят из общества. Мы с доктором Белохлебовым успокоили Лазаря Ивановича, а когда доктор отошел, Лазарь Иванович убеждал меня, чтобы я не думал, что он, будучи женат двадцать лет, не изменял жене. Я ответил ему что-то такое, что я не сомневался, что и от жена его, Галина Глебовна, в этом деле преуспевают.

„Это было пятнадцатого. Для меня ясно, что все, что было — было создано Кофинами, чтобы устроить мне

скандал, как предрекал Лазарь Иванович. Вдохновительницей, конечно, была Галина Глебовна, с тем, чтобы замести свои проделки. Было мобилизовано все против меня, одни невинности, инсинуированные и оклеветанные мною, до Вари включительно, и до жены в частности.

„Я кончил и жду слова товарищей-судей.

Ветеринарный врач Сергей Драбэ“.

Камертон—охотничий рогом:

— До-до! до-соль!—до-дооо!..

На донья морские опускаются люди в колоколах: под колоколами домов, за трубы спущенных с неба на землю, в городе, люди—Еруслан Лазаревич Кофин, ветеринар Драбэ, доктор Белохлебов, дамы, прочие,—люди болтались языками колоколов в домах. Метель над городом: муть, мгла, мга, эги, — „мчатся тучи, вьются тучи“ Людьми—

— комментировать:

ибо

в метели—

Абсолютный покой.

Так.—Вот.—Так.—

— Двухъэтажный колокол дома на Большой (теперь Красной) улице прикрыл Кофина, Еруслана Лазаревича (внизу в доме была парикмахерская „Козлов из Москвы“: Лазарь Иванович всю жизнь там брился бесплатно, в революцию уже по старой памяти о своем прежнем земском начальничестве). Двуспальная кровать во втором этаже, в дальней комнате: сколь много играет в жизни людей — кровать. Еруслан Лазаревич на двуспальной кровати всегда спал один, Галина Глебовна спала где угодно, но не в двуспальной кровати. Ведь знал Еруслан, как все знали, что—с кем не спала в городе

Галина Глебовна Кофина,—с тех пор, давно, когда жизнь танцевала от винта в коммерческом клубе, а там в клубе отплясывал венгерки сибиряк Никитин, швыряя сотенными, чтоб оказаться потом фальшивомонетчиком и совсем не Никитиным и чтоб на суде тогда выступать—в Варшаве—Галине Глебовне—свидетельницей-любовницей. А он, Еруслан Лазаревич, земский начальник, любил выпить в хорошей компании, хорошо закусить, поговорить по душам о задачах интеллигенции, называя ее эоловой арфой,—и он любил Галину Глебовну, и ленты в белье Галины Глебовны после стирки вдевал—он же! Эолова арфа!..

— Молчать бы, молчать! Никто не откроет Америки новой. И он солгал тогда Драбэ: для него была свята двуспальная—пустая—кровать. Драбэ: Драбэ пил водку, пел песни и—где Америка, что вот неделю назад ходила Галина—в ветеринарную амбулаторию ночью,—через заборную щель. Еруслан видел, как ушла она оттуда, должно быть, прогнанная. Лев Семенович Гольдиндах—не отдавал еще жены другому, не открыл еще старой Зеландии, быдлом не подставил еще голову под страдания—и Колумбом поставил яйцо:—

— вечер был, чай пили, Еруслан Лазаревич чай разливал: Галина Глебовна штудировала роль для спектакля,—Лев Семенович: влетел, разорвался, в шубе усился за стол, возбужденно съел порцию еруслановой смоквы.

— „Я пришел поговорить серьезно. Когда мы были в Березняках у Гликерии Михайловны, ветеринар Драбэ о вас, Галина Глебовна, говорил всякие мерзости, что вы были с ним в связи“.

Ах, кто же, кроме Галины, знал, что Галину прогнал Драбэ, и кто, кроме Галины, знал, что Роза, жена Льва Семеновича, была—Драбэ?—И это Галина сказала тогда, Льву Семеновичу о том, что Драбэ болтал (тут же

при Лазаре придумано, было), болтал—Лагарю Ивановичу говорил Драбэ, что целовался с Розой Карловной. Лев Семенович не отдавал еще никогда другому жены,—Еруслан знал это.—И вечер был, и чай был, и спирт за ужином, и номер „Исторического Вестника“ за девяностый год болтался на столе. Лев Семенович сходил за Розой Карловной, вместе коротали вечер и обсуждали, как реагировать.—Роза Карловна плакала, возмущенная, что целовалась, юлила, клялась, Галина Глебовна многоопытно кошкой играла с неопытным блудом Розалии:—Как им обеим итти давать пощечины Драбэ, когда Драбэ любовник обеих?—Ну, конечно, надо итти и защиты просить у жены!—

Разговор после ужина с водкой был по душам, об эоловой арфе. Было очень уютно.

Колоколом дома прикрыта кровать Ерусслана Лазаревича, и это к нему пришла ночью Галина Глебовна, очень нежная, в розовых ленточках, вставленных Ерусланом, чтоб говорить о мерзостях Драбэ. Богатырь такой, Еруслан Лазаревич—ленточки вставляет! и—как ему не раздавить, не уничтожить—Драбэ?!—Лазарь Иванович одевался всегда в сюртучок плюс манжеты плюс шевелюра с поэтической холкой. А дома—а дома привешены за трубу к небесной тверди.

Метель.

Муть, мгла, мга, зги.

Так.—Вот.—

— Драбэ судьям бумагу и „письма Галины“ принес, похояхотал, покурил и ушел. Судьи рядили, как им судить?—Ведь в „письмах Галины“ были—и „Гая“, и „твоя“, и , целую единицу десять нулей раз“,—было как в письмах и к судьям, как же гласить

это обществу? Судьи судили, как им рядить? — Еруслан принял суд вдохновенно.

— И к Еруслану пошел Белохлебов.

Путь Белохлебова: уочка в заборах, в скамейках у калиток, церковная ограда, площадь, памятник жертв октябрьского восстания против торговых рядов, улица в булыжинах мостовой, в домах из камня, каждый, как гроб, — и всюду, конечно, вороньё на ветлах. Костюм Белохлебова: бекеша из верблюжьего сукна и треух с красным крестом. Характер Белохлебова: круглый, деревенская мягкость от добродетели. Идея в Белохлебове: рационалистическая добродетель — помирить Драбэ с Кофиром, хоть и мерзавец Драбэ.

— Я к вам на минуту, Лазарь Иванович. Простите, спешу. Надо вам помириться. Я говорю вам, как друг. Будем откровенны. Простите, что касаюсь столь интимного. — Шопотом: — Понимаете, Драбэ приложил к делу письма Галины Глебовны, письма к нему, ну, понимаете... Это, конечно, не честно. Ну — понимаете, — скандал на весь город... Ну — Драбэ, конечно, вправе предъявить материал... — Погромче: — Простите, что касаюсь. Я говорю вам, как истинный друг.

Лазарь Иванович одевался всегда в сюртучок плюс манжеты плюс прически с поэтической холкой. Лазарь Иванович — в сумерках, до чая — слег в двухспальню свою кровать, сняв сюртучок и манжеты. У Лазаря Ивановича с Галиной Глебовной была семейная сцена, громкая до визга. Визжал Лазарь Иванович.

Лазарь Иванович в истерике:

— Ты, ты, ты! Я не могу даже честно реагировать!

Галина Глебовна в самогипнозе:

— Ты, ты, ты, урод!.. Трус! погубил мою жизнь!

— Что же, паскудные письма на показ выставлять?
— Ты, ты, ты... Письма? письма... Какие письма?..
— А те письма, что ты писала скотолечебнику!
— Что-о? Письма Драбэ? — Ложь!
— Мне Белохлебов их показал...
— Ах, негодяй! Негодяй: относились, конечно, к Драбэ.

— И Розины письма тоже принес?

— Нет, Розу он не желает паскудить.

Путь Белохлебова: улица в булыжинах мостовой, в домах из камня, каждый, как гроб, а всюду, конечно, вороньё на ветлах. Костюм Белохлебова: бекеша, треух, благополучие и довольство всем содеянным в жизни.

Встреча: Воронец-Званский. Бу-бу-бу.

— Николай Иванович, вы?

— Варенец?

— Он самый. Откуда и куда?

— Собственно из дома и домой.

— Полагаю, маршрут надо изменить.

— Почему?

Ипполит Ипполитович Воронец-Званский сумрачно в сумраке расстегнул пальто и показал из бокового кармана — из вылезшего лисьего меха — бутыль. Воронец ткнул пальцем в бутыль, погрозил ей, сказал:

— Регардили? Галки или вороны, не знаю — усердствуют очень. Интеллигентная птица. Кричит и тоску наводит. Не переношу. И весной и осенью тоску по вечерам разводят. Услышишь и почувствуешь, что подлецы своей жизни и блоха на земле. Идем к Драбэ в амбулаторию: он еще добавит...

— Неудобно. Я ведь сторона Кофина.

— Ерунда! Я ведь супер-арбитр.

— Ну, пойдем, что ли.

Пошли.

Вот.—Так.—

— Город осенний. Осенние сумерки опустошают города, точно вынут из города воздух: с улиц, оград, переулков одни лишь картоны стоят плохого художника. Драбэ и ветеринарная амбулатория на управском дворе. Жил сто лет назад дворянин Озеров, а в городе, чтобы не жить здесь, дом себе поставил архитектуры ампирной с флигелями, конюшнями, садом, фонтанами. В шестидесятых годах разорились дворяне Озеровы, продали дом новому тогда земству; в главном доме земство управу поместило, фонтаны в саду к чертям полетели, двор травкой зарос; по флигелям (флигеля из двенадцати строены были, хоть и крыты тесом) разместились: библиотека, бесплатная земская скотолечебница, сельско-хозяйственный склад; заборы каменные остались, хоть и не являли мальчишкам препятствий к земскому саду; революция в Озеров дом, в старое земство—вселила уисполнок: заборы каменные—не остались, хоть и не являли мальчишкам препятствий к советскому саду, сад же пилили на топливо; сельско-хозяйственный склад вывеску изменил на трудовой сельско-хозяйственный склад, но стоял под замком, по бестоварью. Амбулатории ветеринарной пахнуть следует креолином, первым лошадиным средством, так она и пахнула. Ветеринару пахнуть следует креолином: так и пахнул Драбэ.

РАЗГОВОР ПЕРВЫЙ. Белохлебов: „Куда тут?“ Воронец: „Вот-вот, направо или налево. Вылезли?“ Белохлебов: „Нну и темнотища,— наворотили!..“ Воронец: „По стенке валяйте, Николай Иванович, оно спокойнее для физиономии“. С неба за трубы флигель, как колокол, спущен, чтоб болтались люди языками; с потолка на цепи лампа-молния спущена, чтоб освещать стол в kleenke, сосновые стены из двенадцати, кресла, диван, стулья и прочее без ножек, еще от Озеровых.

ДЛИННЫЙ РАЗГОВОР: Драбэ: „Недоумеваю! Когда кот увидел однажды, как люди, он и она, ухаживают друг за другом, он сказал: — Недоумеваю! почему это делают не на крыше?! Не-до-уме-ва-ю!“ Воронец: „Представляю. Драбэ. Ветеринар, лошадиный доктор, поклонник красоты; археолог, герой наших девиц, дам, кухарок и легенд. Дворянин“. Китти Лунина: „Земляной человек! Я его так зову!— Знаете, Белохлебов, он леший! Я разговаривала с Кузьмой и он сказал, что он знает заговоры... Земляной человек!“ Драбэ: „Отроковица! оставь доказывать всем, что ты ко мне неравнодушна, и что ты мне не нравишься“. Китти: „Фи!“ Белохлебов: „А почему вы пришли к такому выводу?“ Драбэ: „Это насчет того, что она мне не нравится, а я ей нравлюсь?“ Китти: „Фи! глупости он говорит!“ Драбэ: „Оставь, о тебе говорят, женщина!.. Серьезно. Я часто думал, как тяжело, как оскорбительно быть такой женщиной, да и вообще женщиной! Разговариваешь с ней и чувствуешь, что ломается она, кривляется, говорит глупости, пошлости и требует к себе почтения только потому, что она женщина, потому что ей простят, ибо она—баба, существо физически противоположное мужчине“. Воронец-Званский: „А послушай, а те мужчины, которые попадаются на эти удочки, что же— выше стоят?“ Белохлебов: „Да, это серьезная тема“. Воронец: „Нет, пусть Драбэ ответит!“ Драбэ: „Что же, и мужчин дураков много“. Воронец: „Не дураков, а подлецов. И еще скажу: вопрос, что мерзостнее: на удочку попадаться или удочкой удочку ловить? Ведь насчет отроковиц и прочую ерунду ты всем женщинам говоришь!“ Китти: „Верно! Молодец, Званский! Молодец!“ Драбэ: „Хо-хо-хо!“ Воронец: „Эх, братики, никак вы не поймете, отчего мне выпить сегодня захотелось. Вчера лег—галки, сегодня встал—галки, или

вороны, не знаю, вечером решил, что грачи. Пить идите, готово".—

Ночь стала над городом, и дождь заморосил. На столе под лампой-молнией: спирт, селедка, помидоры, октябрь;— у стола: люди в разных позах. Костюм Драбэ: рубашка и шаровары в смазные сапоги взабувку, пахнут ветеринаром, первым лошадиным снадобьем — креолином. Голова Драбэ: как у тех, кто впервые доили скотину, вся в волосах и глаза из волос наивно глядят. А Китти, а Китти: девятнадцать лет. Дождь идет медленно (дождь, оказывается, ходит), как дьякон с перепоя к заутрене, дождь капает с черного неба, а ночь черно-лиловая и пахнет конским потом, ветер шатается пьяницей и вновь вложена в землю душа, круто заварена ржаная — ночи — каша, на конском поту.

ПРОЩАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР, в коридоре, без Китти. Воронец-Эванский: „На улице, прощаясь... ...али, как всегда делают мужчины — улицы, избывали печали, русские, без причины“. Белохлебов: „Слушайте, Драбэ... Насчет суда. Вы Галинины письма... неудобно...“ Драбэ: „Брось, Белохлебов. Кому-нибудь одному надо уже в дураках остаться. Я не хочу. Я и так не хожу домой уже целую неделю...“ Белохлебов: „А это-то, Китти, как сюда теперь попала?“ Драбэ: „Ножками попала, ножками“.

— Путь Белохлебова или путь слепорожденного, безразлично: глаз выткнуть, ни зги не видать, как у негра в желудке в двенадцать часов ночи, грязь по колено внизу; путь Белохлебова: наошупь.—

И в ту же ночь, поздно ночью в ветеринарную амбулаторию к Драбэ приходила Роза Карловна: — „Это нечестно! Это нечестно!“ — Слезы на древних семитских глазах украсили ночь жемчугами. Роза Карловна рассказала, что рассказала Галине Глебовне. Драбэ ей рассказал,

что он написал суду, — Драбэ ее успокоил, и она, Роза Карловна, успокоилась тем, что Драбэ отрекся от нее, сказав, что Кофин клевещет, и она, не раздеваясь, целовалась Драбэ так обреченно, и так поспешно, безвольная, спеша домой к мужу. Потом ночью, один, Драбэ, долго читал „Старые годы“ — о Ханском дворце в Бахчисарае. Дождь хлестал сиротливо, ветер шаркал по дому и под диваном шарили мыши.

Глава третья.

Третейский суд был назначен в квартире доктора Белохлебова. Товарищи третейские судьи собрались в кабинете. В двух разных комнатах, столовой и спальне, сидели стороны Кофин и Драбэ. Первым вызвали Кофина, Кофин побыл перед судом и ушел. Потом побыл перед судом и ушел в свою спальню Драбэ. Затем их позвали обоих, и супер-арбитр строго предложил сторонам помириться, и стороны пожали друг другу руки. Доктор Белохлебов пригласил всех в столовую выпить по рюмке водки перед выходящим.

А над городом шла метель. Как, — неповторимого, — не повторить Пушкина, о том, что ветер вольный „всю жизнь провел в дороге, а умер в Таганроге“? Да, но город не был даже Таганрогом. Снежные космы, — первая была октябрьская метель, — лизали жухлую землю, выли, стонали, мчались (снег оказывается, стонет). Метель, метель, метель! Муть, мгла, мга, зги. В домах лежанки, голландки, русские печи, железки. Первая мчит метель, — первая, первая. Как не рассказать — нерассказываемое — о том, как в метели, в снегу, в вое ветра, в мчании, — в скачке и пляске — вдруг возникает:

- абсолютный покой,
- неподвижность,

— недвижность,
— тишина,—
баба с мордовским лицом.

Я близорукий, на очки снег налипает, очки леденеют, а без очков: я не вижу или вижу одну лишь зеленую муть, бьет снег по открытым глазам, из муты вдруг вырастают снежинки, все темнее и больше, чем есть, и смежаешь глаза, а надо руки вперед протянуть,— а дома, а церкви, а ветер, а снег над тобою склонились. Выше, выше! — черная (или лиловая?) ряса, — дьяконова, — по облакам в метели.

— Пасс.
— Пикендрясы.
— Червунцы.
— Малый шлем...

Так.—Вот.—

— А у Драбэ,—а у Драбэ была жена. Это к ней тогда пришла в школу второй ступени, на уроки, в большую перемену Галина Глебовна и Лунина,—пришли, в белую зиму спокойствия Анны Сергеевны ворвавшись осенней слякотью. Это она тогда в спокойствии белой зимы сказала дамам, что они направились не по адресу. Это она тогда спокойствием белой зимы передала разговорец большой перемены мужу, чтобы прижабить Драбэ к подушкам дивана, чтоб почувствовать Драбэ, что он впрямь скотолечебник. У Анны был домик, совсем не под колоколом, домик был белый, там были дети, чтоб нести Анне крест их. Метель, метель, метель. В муты,—в ту метельную ночь,— шел Драбэ переулочками, закоулочками, всегда в тупике, в первой—в октябре — метели. В белом окне был свет. Постучал. Подождал. Постучал. Свет исчезнул в тени. Свет появился в прорехе для писем в парадном.

— Кто там?
— Это я, Сергей. Пусти, Анна.
— Уходи, негодяй!

Свет исчезнул в прорехе для писем. Больше не было в домике света.

Ночь. Метель. Муть. Нехорошо! Зябко.—
— Охотничим рогом—
— Эолова арфа—метель:
— До-до! до-соль! до-дооо!..

Глава четвертая.

В семнадцатом веке попы, дьякона и причетники записи писали. Дьякон записи эти нашел через три с половиной столетия. Дьякон тетрадку купил, чтобы переписать эти записи. В записях дьякон прочел о воеводе Никите, гробницу сыскал,— летом, — размуравил ее, когда солнце, кололось о кирпичи Кремля, а осенью батюшка замуравить велел дыру, потому что надо было капусту солить. Дьякон, управским писцом, водку хлестал на управском дворе в ветеринарной амбулатории; в духовном звании дьякон водку хлестал уже с духовными лицами; с батюшкой дьякон жил в пререкательстве, дьякон был острослов, батюшка был меланхолик, вдвоем водки не пили, но у купцов по приходу чин заставлял их быть вместе, и, выпив, дьякон шутил над духовным своим начальством, и батюшка мстил: в церкви богослужили лишь в праздники и под праздники, в будние дни не богослужили, а каждый раз батюшка мстил одним и тем же манером и каждый раз дьякон попадался в расплохе: с пирор, от купцов, где выпивавший дьякон шутил, потихоньку уходил батюшка и, вернувшись на спас, говорил звонарице: — „Звони!“ — Звонарица звонила к вечерней, и пьяненький дьякон от купцов через

весь город, рясу в руки забрав, мчался домой, чтобы богу служить, едва держась на ногах, в пустой церкви пред недоуменно заблудшой старухой. Растет жизнь иного дубом, дубом и валится в старости,—растут жизни иных ветлою, осиною, осокой, волчажником,—больше ветел на свете, чем дубов и берез, чтоб рубцеваться повсюду и возрастать на песке колом, воткнутым в землю,—впрочем, ветлы бывают иной раз — бамбуком. Революция много рубцов нарубила на разных бамбуках,—попово древо крепко уперлось в рубцевальню народной стихии: у батюшки жена ушла в полюбовницы к комиссару, в городе девичий монастырь разогнали, и батюшка—в полюбовницы взял монашенку.

— Ночь. Баня: холодно в бане. Дьякон с котом на печи, в тулупе и блохах. Первый падает снег, первая метель. Март или октябрь—все равно: мартовской метелью прошел октябрь по земле. В первый снег утром—мягко тикают часы, по зимнему, а за окном мальчишки в снежки играют. Дьякон от мира в баню ушел, откуда командовал домой, слова искал, в баню взял с собой одного лишь кота. Кота дьякон учил праведной жизни—не есть скромного; дьякон и кот ели лишь постное: дьякон—хлеб и картошку, а кот—картошку и свеклу. Кот был очень смиренен.

Ночь. Мрак. Воет метель.

Дьякон: Кто еще там?

Драбэ: Это я, Сергей Терентьевич. Мимо проходил, вспомнил о тебе, дьякон. Мудришь?

Дьякон: Мудрию.

Драбэ: Ну, а вымудрил что? Я к тебе, дьякон, по делу... Надо водку пить бросить и баб. Нехорошо, дьякон. Помнишь, как мы с тобой под церковью копались, старины искали?—дураки говорят, что по-умному жить надо. Стихия, брат, биология.

Дьякон: Помню. И брось,—баб, то-есть. Вот мне надобно знать, кто на земле первый доил скотину,—баба или мужик, и корову или кобылу? Ох, до чего наворотили, дьяволы, в миру.

Молчание.

Дьякон: Баба, надо полагать, доила, то-есть,—для ребенка. И тоскливо же бабе было доить! чай, все думала:—„ну, а как вдруг меня подоят?!”

Драбэ: Это ты правильно, дьякон. Тоскливо. Только доил-то, наверно, мужчина. Ну, какая же баба далась бы доиться?—неестественно. Ей и в ум не пришло бы доить. Это, должно быть, парни впервые проделали—от озорства.

Дьякон: Что-о? от озорства?—от озорствааа?!

Драбэ: Ты что обрадовался? Кобыленку какую-нибудь, а поймали бы девку—девку стали доить бы...

Дьякон с печи сполз, кот с ним вместе спрыгнул. Дьякон стал перед Драбэ.

Дьякон: Стало быть, и весь мир от озорства?! Нет, постой, объясни, как же так?—и кобылу?—от озорства!.. А я-то, а я-то,—бабу жалел,—от озорства!.. хо-хо-хо! хии-хи-хи!.. От озорства!

Драбэ: Мудришь, дьякон. Впрочем, и люблю тебя, что мудришь. Понимаешь, кончил институт, теперь все забыл. Женился, любил жену, жена прогнала от себя. Дураки говорят, а я не знаю — умна жизнь или полезна, а смерть—глупа или вредна. Полагаю, глупо быть умным. Понимаешь, корягой, дубьем, стоеросом жил. Ломиться надо корягой. Революция миру коряга. Не-до-уме-ва-ю, почему не на крыше?

Дьякон: От озорства, хии-хи-хи! Революция миру коряга!.. А я-то,—а я-то!..

Кот у дьякона картошку и свеклу ел, вегетарианцем был. Дьякон руками махал перед Драбэ, кот у двери во мраке прижался. Когда Драбэ, уходя, дверь в метель

отворил, кот-вегетарианец из бани стремглав полетел, хвост поджав по-собачьи, с разбега в забор уперся, очумело вскочил на забор, с забора махнул на кремлевскую стену, оттуда на крышу, к попу. Кот, ни разу не видавший мяса, конину в чулане учゅял у дьякона. Пожалеть кота надо, — кот с рычаньем на мясо набросился, мяукал неистово и мясо сожрал: восемь фунтов, — и кота не видали больше — ни в чулане, ни в бане, ни на заборах: кот вообще со спаса убрался.

Утро в тот день пришло в баню снятым молоком, окна банные стали, как бумага, в которую когда-то заворачивали сахар. Утро пришло в баню в тот день — белым морозом, алмазами белым на стенах и углах. Дьякон в рясе сидел на нижней ступени полка, локти уперши в колени и щеки вложивши в ладони, — и глаза — не зрачками, — а красными веками на лиловых белках, готовыми лопнуть, говорили — черт знает о чем. Темно было в бане и холодно, дьякон сидел неподвижно, — дьякон не видел алмазов, метелью насыженных в окна. За баней снег заскрипел от шагов.

Сын: Папанька, замерз? А знаешь, у отца Алексея, у батюшки нашего, — сын родился — от монашки. Ночью монашка сына родила!

За баней снег заскрипел от шагов, в баню — квашнею — дьяконица ввалилась.

Дьяконица: Отец! кот у тебя? Кот конину сожрал, — восемь фунтов. Дознаюсь, чей кот!.. Восемь фунтов! Твой-то кот у тебя? — Вот учил, вот учил, а он конину, — ползадней ноги!

Сын: Маманька! А у отца Алексея — от монашенки — сын родился, девять фунтов, здоровый!..

Дьяконица: Что-о? А где кот?.. Мать Гликерия сына родила?..

Дьякон сидел неподвижно. Дьякон поднялся с нижней ступени полка. Дьякон крикнул громчайше:

— От озорства!.. Не-до-уме-ва-ю!.. от озорства! — от озорства!..

Дьяконица: Бааа-атюшки!..

Дьякон: Кот убег. Кот сожрал восемь фунтов конины. А Гликерия девять фунтов родила. От озорства!.. Матка, беги. — Васька, беги, сукин кот! — желаю записаться в Российскую коммунистическую партию большевиков и служить буду верой и правдой. Желаю из бани выйтить!

— Сворачивай! Видишь, — господа земские начальники едут!.. Дьякон три дня отсыпался после бани, спал, как из ведра.

Глава пятая.

Метель. О-го-го! метель!

Это было так. Перед окном стоят стройные елочки, там, дальше, огородный пустырь, за огородом река, как свинец в осеннем дне, река изгибается крутой лукой, и на той стороне, на луке, на холме стоит белый дом, среди старого парка. Этим домом к реке выпир город. Сумерки грузились тем свинцом, которым паковали чай, земля была черна и безмолвна, стройные елочки стали у моего дома, пихты у того дома на луке, — и в небе. — Памиром в пасмурный день, горами — строились громады туч. Тучи были зимние. Тучи пошли снеговыми полчищами. Тучи распределяли свинец, чтобы ему побелеть. На дворе с громом хлопнула калитка, — первый вестник, — и под окном полетели листья, бумажки, стружки, снова громко упала калитка, ветер с плеча уперся в дом. И сразу кинуло снегом

на черную землю. Домна принесла дров, грохнула на пол,— „Замело, замело-то, не видать ни-синь-пороха!“— Что же.—Метель! Ого-го, метель! Кресло—к печке, книги те, что в пыли в углу на полу. Ветер-гуляка одним мехом без клавиш в гармонику дует,— снег на землю пошел деловито, объясняться с землею в делах. Стройные елочки—синие, белый снег и—ни-синь-пороха.— „То, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя,—то, как путник запоздалый, к нам в окошко застучит“.

— Никакого путника я не жду.

— „Дров принесите, Домаша, побольше. А спать звались в восемь часов. Самовар приготовьте“.

Снег снежными мехами землю покрыл, окна посызели по-зимнему, часам тикать по-зимнему, по-метельному, по-метельному врукопашную с домом пойти ветру и по-метельному дому на ночь объершиться. Самовар в восемь часов свил свою верею, чтобы в печке углем стать парчевыми. В пыльной книжке написано о старых колоколах, о Корноухом—Угличском, о Московском Ивана великого, о прочих знаменитых колоколах,— и решил, что метель, главным образом вот—гудит по-звериному, зверем, которого нет. А потом—ночь. Дому—ершом стать в метели, ворчать, хрипеть, скрипеть по-стариковски, сердито—хранить тепло свое и меня.

А ночью—глубоко за полночь—к вою ветра, к шумам и крикам метельным—влились в них дубасы в окно, у дверей, в водопроводную трубу: „То, как путник запоздалый, к нам в окошко застучит“. И сквозь форточку—из метели—в метель в белом белье я услыхал бас товарища Воронова:

— Гей, товарищ Борис, отпирайте!

— Это пришли коммунисты из белого дома на луке: этим домом в метель выпер город. Товарищ Елена кричала в метели:

— Метель! Мы гуляем. Разве можно уснуть такой ночью! Метель!

В дом, со снегом, с метелью, с морозом ввалились веселые люди. Дом—старый хрыч—зашумел, загудел, зазвенел в этажерке посудой от тяжелых—по половицам скрипящим—шагов товарища Воронова.

А за домом метель—замела, завыла, закружила, кинула в белую бучу снегов.

— Го-го-го-го! Метель.—Это Воронов.

— Товарищ Борис, милый философ! над землею метель, над землею свобода, над землею революция! Как же можно так спать?! Как хорошо! как хорошо!—Это товарищ Елена.

Товарищи Павлов, Собакин, Агапова—враз и по-разному запели разные песни. Товарищ Воронов басом—Орешиным—перекрикнул метель:

Или—воля голытьбе,
Или—в поле на столбе!..

— Ого-го! Метель!

Товарищ Елена стиснула руку: вперед, без дороги, в белую бучу метели! Ничего не поймешь—жердь огородная, что ли?—канава?—жердь огородная, снег холодащий по пояс: конечно, поэзия, конечно, поэма. Здесь на минуточку [встать, — подождать остальных, как повалятся в яму,—и не выпустить руку из рук.

— Милый, товарищ Борис! Какая метель; как хорошо,— как хорошо!

А потом всем стоять,— как волчья стая в метели— обсуждать,—

— вот мелькнула папаха Павленки и исчезла за снегом, а соседка—Елена—видна лишь по пояс

Вросла в белую муть, а Собакин овеил теплом от дыхания, вырос громадой больше, чем есть, и Елена, и я полетели в холодную снежную мягкость.

Обсуждать:

— Реку на мост в обход обходить или плыть через реку на лодке, пробивая по ломкому льду себе путь.

— И решили: на лодке.—Лодку, как сани, тащили на лед и под лодкою рухнул ледок. На середине реки не было льда, там шло сало,—ах, как ветер кружил в белой мути!—и пристали на той стороне далеко от места, где надо пристать. В парке ветер с деревьями шел в руко-пашню.—Метель! Ого-го! Метель!

— Милый, милый товарищ Борис!

— Милый, милый товарищ Елена!

— Как хорошо! Свобода, метель!

— Ка-ак хо-ро-шоо!..

В белом доме—колонный зал. В колонном зале горит пустынная свеча. Почему губы женщин всегда горьковаты и рассвет идет мертвцом?! Там, за окнами ночью была метель. Утро пришло синим мертвцом. Нету метели. Снег лежит покорно. В белом зале—белый свет, по-зимнему идут часы. В белом зале ненужную свечу я потушил.

Ну, вот:

— снег лежит покорно, там за окнами была метель,—

— по городу идет

буденный советский день.

Скучно. Будни. Рабочий день. „Соединенное заседание наробраза и здравотдела“. „Сводки декретов, статбюро и продкома“. „Разъяснения центра“. Цифры, цифры, цифры,—цифры всегда белые, сухие и меняющиеся. Люди в кожаных куртках, незнакомые, бог весть откуда, с диалектом: комгосооп, рабсила, начэвак. Прибавочная стоимость, партийные директивы. В каждой комнате по

желёзке, жарко и дымно, а у железки барышня щипет луцины.

„Рабкрин не утверждает смету Здравотдела,—отношение из центра № 50007. Секция Соцкультуры подготовила доклад, где в резолютивной части... Ордер улескома лежит третью неделю, нет дров“.

Кожаные куртки, папахи. Руки надо греть у железок. Новая экономическая политика,—необходимо разобраться, как из бесконечных противоречий получается система практики, логически согласованная,—чем? „Надо учиться заново—вот у них, у „нижних чинов“. Очень скучно. Лица под папахами—очень скучные, как будни. Товарищ Воронов сворачивает махорочный крючек, руки не слушаются,—и на корточках закуривает его от железки.

— Примите телефонограмму. „Всем культотделам предлагается строго согласовать свою деятельность с политпросветом, который организует секссоцкультуры“. Распоряжение из центра.—„По данным статбюро учащихся в уезде столько-то, обутых из них 20%, т.-е. столько-то. Чрезвыкомом по борьбе с безграмотностью обучено столько-то взрослых, осталось столько-то, т.-е. 47 процентов. На приварок детям в школах отпущено столько-то пудов овса и воблы. 10% школ не приступают к занятиям из-за отсутствия стекол в Республике“.

— Станция?—барышня, станция?..—Дайте мне пожалуйста фарпод санотдела.

День белый, день будничный. Утро пришло в тот день синим снегом. Скучно. Советский рабочий день. А оказывается этот скучный рабочий день и есть—подлинная—революция. Революция продолжается.

Коломна. Никола-на-Посадьях.

Ноябрь 1921 г.

ЛЕСНАЯ ДАЧА

— Странно, что я не могу забыть о том, как я проводил лето в лесу. Я был тогда на севере, в Карелии, и жил в деревне, где было много леса. Я любил ходить в лес, и там я нашел много интересного. Я видел там различные животные, такие как медведи, лоси, зайцы и другие. Я также видел там различные растения, такие как бересклеты, ягоды и другие. Я проводил там много времени, и это было для меня очень интересно. Я любил проводить время в лесу, и это было для меня очень приятно.

— Да, я тоже люблю проводить время в лесу. Я живу в деревне, и там есть много леса. Я часто хожу в лес, чтобы погулять и посмотреть на природу. Я люблю видеть там различные животные, такие как медведи, лоси, зайцы и другие. Я также люблю видеть там различные растения, такие как бересклеты, ягоды и другие. Я проводю там много времени, и это будет для меня очень приятно.

— Странно, — сказал Игнат, — как же я не заметил? Ты же сидел на крыльце, а я прошел мимо, не заметил. Ты же сидел на крыльце, а я прошел мимо, не заметил. Ты же сидел на крыльце, а я прошел мимо, не заметил. Ты же сидел на крыльце, а я прошел мимо, не заметил. Ты же сидел на крыльце, а я прошел мимо, не заметил. Ты же сидел на крыльце, а я прошел мимо, не заметил. Ты же сидел на крыльце, а я прошел мимо, не заметил.

В оврагах лежал еще снег, бурый и рыхлый; из-под него стекали ледяные ручьи, но наверху снег уже стаял, и прошлогодняя трава, желтыми стрелками, смотрела в небо; на припеке появились первые желтые цветочки. В небе было много налито сумеречной, свинцово-тяжелой мути. Низко над деревьями пролетел стервятник, и по его лету стихали птицы, потом они снова гомонили, устраиваясь жить. Булькала разбухшая земля, ветер дул слабо, теплый и влажный, доносил откуда-то издалека весенние, гулкие шумы: не то людской говор из-за реки с села, не то птичий клекот с токов.

Лесничий Иванов вышел на высохшее уже крыльце и закурил папиросу; папироса медленно тлела в сгущающихся влажных сумерках.

Прошел с ведрами сторож Игнат и сказал:

— Теплынь-то, Митрич, — благодать!.. Мотри, завтра вальдшнепа потянут, придется под самую пасху на охоту иттить!..

Игнат ушел в скотник. Потом вернулся, подсел на ступеньку и свернул собачку, к весеннему сладкому запаху прелой листвы и талого снега примешался горький махорочный запах. За рекою в церкви ударили; колокольный великопостный звон долго ныл в воздухе, разносясь над водою.

— Седьмое евангелие, надо полагать,—сказал Игнат.—
Скоро и со свечками пойдут. Река летом—по пузо не будет, а теперь насилиу переехали на баркасе!.. Весна!.. Вычистить надо двустволку сегодня, обязательно.—Игнат деловито сплюнул в лужу и крепко затянулся.

— Ночью, по всем приметам, журавли сядут за садом, ночевать. А завтра, стало быть, по тетеревам пойдем,—сказал Иванов и прислушался,—к вечеру.

Игнат тоже прислушался, склонив мохнатую свою голову на-бок, к земле и небу, услыхал нечто нужное и сказал утвердительно:

— Надо полагать. Теперь самый ему лет... Нет мне этого приятнее.

— Завтра к рассвету дрожки заложи, поедем в Ратчинский лес, посмотрим. Верхом—ничего, проедем.

На террасу, справа от крыльца, стремительно выбежала Аганька, дочь Игната, и стала выбивать пыль из тулуна тонкими коричневыми воложками. Все же было холодно, и Аганька по-очереди поджимала босые свои красные ноги, запела визгливо, приплясывая на месте:

Поет соловей
На березке моей—
На дает соловей
Спать голубке своей!

Игнат посмотрел на нее снисходительно-любовно и сказал строго:

— Девка!—грех!—Пост, а ты поешь.

— Ну-к что ж! Терь греха не бывает!—ответила Аганька, поджала правую ногу и принялась усердно хлестать, став ко крыльцу спиной.

Игнат погрозил в спину дочери всей ладонью, улыбнулся и сказал Иванову:

— Бойкая девка!.. Шешнадцати годов нету, а в люботу уж играет, ничего не поделаешь. Ночи не спит, все шмыгает.

Аганька круто повернулась, задрала голову и ответила отцу:

— Одно дело! Жив человек-от!..

— Жив, жив, доченька!.. А ты помалкивай.

Иванов посмотрел на девку, похожую на молодого звереныша, на молодое ее тело, на ее весенние глаза, почувявшие „люботу“: в его глазах, уже усталых, помимо воли, должно быть, и бессознательно, скользнула грусть на одну минуту, потом он радостно, громче, чем надо, сказал:

— Что же, так и нужно, так и должно! Люби, гуляй, девка!

— Конешно, пущай гуляет. Молодость! — отозвался Игнат.

Опять ударили к евангелию. Сумеречной муты все больше наливалось в небо, на деревьях в зеленом воздухе кричали вороны. Игнат наклонил голову к земле, слушая. Издалека, из сада, от оврага, с выгона, долетел тихий, чуть слышный в весенне-настороженном зеленом гуле, журавлинный клекот. Волосатое лицо Игната вытянулось, стало сначала серьезным и внимательным, затем хитрым и взволнованно-радостным.

— Сели! Журавли!—сказал он возбужденным шепотом, точно страшился спугнуть их, и заторопился.—Двустволку надо смазать!

И Иванов тоже заторопился. По какой-то ассоциации, верно по той, что пойдет сейчас следить журавлей и увидит ее, увидел перед глазами своими, с осознательной явственностью, Арину, широкою, крепкою, горячою, в красном платке, со зверино-мягкими ее губами.

— Дрожки завтра на заре заложи, в Ратчинский лес поедем.—Я сейчас в лес пойду, посмотрю.

II.

В кабинет Иванова зашли сумерки, в них слабо очерчивались бревенчатые стены, печь с растрескавшимися кафелями. У стены стояли верстак и диван, на письменном столе, заваленном беспорядочно всем, что сваливалось здесь временем, зеленое сукно было обильно закапано стеарином,—это осталось от долгих пустых ночных, которые Иванов проводил один. Под окнами валялась конская сбруя,—хомуты, чересседелки, седло, уздачки,—окна были большими, квадратными, пустыми,—в них по зимам ночами следили волки за желтым огоньком свечей. Сейчас за окнами было зеленовато-синее, весенне- мирное небо, с охровой полоской у горизонта, и на нем вычерчивались прозрачные, узловатые прутья кротегуса и сирени, посаженных под окнами.

Иванов зажег свечу на верстаке и, чтобы ускорить время, стал набивать машинкой ружейные патроны.

Вошла Лидия Константиновна, спросила: — Подать ли чаю сюда, или он придет в столовую?

Иванов от чая отказался.

Лидия Константиновна все годы революции жила в Крыму, прошлым же летом она приезжала в Марьин Брод всего на две недели, уехав потом в Москву. Теперь, встречать пасху, приехала она не одна,—с ней приехал художник, о котором Иванов раньше никогда не слышал,—Минтз. У Минтза было бритое лицо, с пенснэ в стальной оправе на серых холодных глазах и с длинными светлыми волосами: пенснэ он часто снимал и надевал вновь, отчего менялись глаза, становясь без пенснэ беспомощными и злыми, как у молодых совят днем; бритые губы его были сжаты суко, уже утомленно,

и в лице Минтза мелькало часто неверное и дряхлое; говорил и двигался он очень шумно. Приехали они вчера в сумерках, Иванова не было дома. Вечером они ходили гулять. Вернулись во втором часу, когда уже едва-едва начинало сереть и был туманный холодок; их встретили собаки лаем, собакам ответил Игнат колотушкой. Иванов возвратился домой к одиннадцати, сидел у себя в кабинете под окном, слушал медленную настороженную ночь. В парке всю ночь кричали совы. Лидия Константиновна к нему не пришла, и он не пошел к ней.

Художника Иванов увидел первый раз днем в парке. Он сидел на подсохшей дерновой скамейке и пристально смотрел на реку. Иванов прошел мимо. В корявой фигуре Минтза было сиротливое нечто и очень утомленное.

Рядом с кабинетом Иванова находилась гостиная, у больших окон с погрязневшими стеклами еще остались от разрушения — ковер, кресла, кенкэты, стоял старый концертный рояль, висели портреты.

Из дальних комнат в гостиную вошли Лидия Константиновна и Минтз. Лидия Константиновна шла, как всегда, бодро, четко поступивая каблуками. Иванов вспомнил ее походку — упругую, четкую, при которой покойно покачивался красивый ее торс.

Лидия Константиновна подняла крышку рояля и заиграла бравурное, такое, что не шло к изжитой гостиной, затем хлопнула крышкой.

Аганька принесла поднос с чаем.

Минтз в сумраке ходил по комнате, стуча каблуками по паркету, и говорил шумно, хотя в голосе его была грусть.

— Я сейчас был в парке. Этот пруд, эти аллеи из кленов, вырождающееся, умирающее, уходящее, — они так и заставляют грустить. На пруду, где плотина, лед уже стаял. Почему нельзя вернуть романтический осьмнадца-

тый век и можно лишь грустить о халатах и трубках?
Почему мы не знатные владетели?..

Лидия Константиновна усмехнулась и ответила:

— Ну, да. Это поэтический вымысел. Но в действительности это много, очень много хуже. В частности Марьин Брод никогда не был помещичьим гнездом, это—лесная дача, лесническая контора, и только... и только... Я здесь всегда чужая. Я здесь второй день, и мне уже тоскливо... — В голосе Лидии Константиновны появилась грусть и едва уловимое раздражение.

— Действительность и вымысел? Наверное, я потому и художник, что мне всегда видится второе, внутреннее, преломленное в красоту,— сказал громко и грустно Минтз и добавил тихо:— Помните,—вчера?.. парк?..

— Ну, да, парк,— Лидия Константиновна ответила устало и тихо:— Сегодня двенадцать евангелий, девочкой я так любила стоять в церкви со свечкой, так хорошо делалось на душе. Ну, да! А теперь я ничего не люблю.

В гостиной стало уже совсем темно. Окна на темных стенах были зеленоватыми и зыбкими. Из кабинета вышел Иванов, в высоких сапогах, в кожаной куртке и с ружьем. Он молча направился к двери. Лидия Константиновна его остановила.

— Сергей, ты опять уходишь? На охоту?

— Да.

Иванов остановился.

Лидия Константиновна подошла близко к нему. У нее были подведены глаза, а на ее удивительно-белой коже, у губ, на щеках, тонкими, едва заметными морщинками легло время, уже уносящее молодость и красоту,— это четко вспомнил Иванов.

— Разве ночью, во мраке тоже охотятся? Я не знала,— сказала Лидия Константиновна и повторила:— Я не знала...

— Я иду в лес.

— Я приехала после того, как мы не виделись много-много тысяч лет, и мы еще не говорили...

Иванов ничего не ответил и вышел. Его шаги прошумели по залу, потом по коридору, и затихли далеко в большом доме; хлопнула черная входная дверь. Дом был старым, большим, разваливающимся.

Лидия Константиновна осталась стоять посреди комнаты, обратив лицо к двери. К ней подошел Минтз, взял ее руку и поднес к своим губам.

— Лит, не надо грустить,— сказал он тихо и грустно.

Лидия Константиновна освободила руку, обе свои руки положила на плечи к Минтзу и тихо сказала:

— Ну, да. Не надо грустить!.. Ну, да, слушайте, Минтз... Как все это странно! Он меня очень любил, я его никогда не любила... Но здесь прошла моя молодость, и мне сейчас грустно... Я помню все, что было в этой гостиной, тогда все было первый раз. И мне хочется, чтобы это вернулось. Быть может, тогда это было бы по-другому. Мне жаль моей юности сейчас, хотя раньше я ее проклинала, но мне очень не жалко всего, что было потом. Мне уюта хочется! Ну, да, а если бы вы знали, как он меня любил!..

Лидия Константиновна помолчала минуту, склонив голову, потом рассмеялась глухо и зло, закинув высоко голову.

— Ах, какие пустяки! Мы еще будем веселиться! Просто я устала. Как здесь душно!.. Минтз, откройте окна!.. Спустите шторы... Они здесь живут на черном хлебе и молоке, и счастливы,— но у меня есть бутылка коньяку, там, в чемодане,— достаньте! Зажгите люстры!

Минтз раскрыл окно. От земли потянуло бодрым холодком и влажными, сладкими весенними запахами. Небо было во мраке, по нему ползли весенние теплые тучи.

III.

Небо было непроницаемым, индигово - черным, едва зеленело мутной зеленью у запада, и там можно было уследить сырье низкие облака. Воздух был влажным, теплым, пахнущим землею и талым снегом. От реки, от оврага, с выгона, из леса, из парка шли разные, гулкие, тревожащие звуки. Ветер пал совсем. Иванов закурил папироску, и, когда вспыхнула спичка в ладонях, осветив только черную бороду Иванова, заметно было, что руки его дрожат. Из мрака подошел пойнтер Гек и стал ластиться у ног.

В церкви ударили к последнему евангелию; весенний мрак изменил, спутал расстояние, и казалось, что в колокол ударили рядом во мраке, за дачей. На дворе было безмолвно и темно, лишь в скотнике Аганька окрикнула раза два коров, и оттуда чуть слышно долетал звук падающего в подойник молока.

Иванов прислушался к церковному звону, к усадебной тишине, и бесшумно, привыкший к ночному мраку, ступил с крыльца большим своим сапогом, собаки его не услыхали, лишь Гек шел рядом. В парке с деревьев падали холодные капли, мрак здесь сгустился еще больше. Где-то близко прошумела прутьями сова и, пролетев уже, крикнула радостно-жутко. Земля была топкая, тяжелая, налипала на сапоги, скользила, связывая движения, и еще больше неизжитой, сладкой немоты было в теле.

Иванов прошел выгоном, спустился глинистым проселком в овраг, перешел его и по другому его краю, среди деревьев без дороги пошел к сторожке. Сторожка стояла на голом месте, около нее лишь поднимались к небу три вековые голостволовые сосны, сзади бурела насыпь,

У сторожки залаяла собака, Гек заворчал и исчезнул во мраке. Потом собаки стихли. На крыльце появился человек с фонарем.

— Кто там? — спросил он покойно. — Ты, Арина?

— Это я, — ответил Иванов.

— Ты, Сергей Митрич?.. угу!.. А Арина еще в церкви. В церкву уплыла!.. Глупостями займаться. — Сторож помолчал. — Пойти посветить, скорый сейчас пройдет, — вшивой... Зайдешь, может? Аринка теперь скоро... Старуха дома.

— Нет, я в лес, — ответил Иванов.

— Как знаешь.

Сторож с фонарем поднялся на насыпь и пошел к мосту.

Иванов отошел от сторожки в лес, по краю оврага подошел к речному скату. Из леса на той стороне реки вынырнул поезд, его воспаленные глаза отразились в черной, точно масло, воде; поезд зашел на мост и прошумел по нем громко и черство... Был тот весенний час, когда, несмотря на многие шумы, все же была тишина, и слышно было, как дышала, впитывая в себя влагу, разбухшая, обильная земля, как выпрямлялись прутики, помятые снегом, как проталкивала новая, еще невидимая трава, земную кору. В овраге шумел ручей глухо, притихнув на ночь. Но все же так, точно в воде, полоскался проснувшийся по весне леший, — корявый и дерзкий. За оврагом, за лесом, за рекой, справа, слева, впереди, сзади, — еще не стихли на токах птицы. Внизу, в немногих шагах отсюда, была река, шла почти бесшумно, только издалека доносился слитый шелест струй. Небо стало еще темнее и ниже.

Иванов прислонился к березе, поставил рядом ружье и закурил. Огонек осветил белые стволы берез, прошлогоднюю высокую траву и тропинку под обрыв. По этой тропинке много раз ходила Арина.

В селе, на колокольне стали перезванивать, и в том месте, где была церковь, появились желтые огоньки свечей, потом стал слышен человеческий говор. Многие свечечки разбрелись вправо и влево, несколько пошло вниз к реке. По реке, над водою разнесся шум ударов ног по дну лодки и весел, кто-то крикнул:

— Погоди-и!.. Митри-ич!..

Звякнуло железо, верно лодочное кольцо. Потом стало тихо, и только свечечки показывали, что лодка пошла вверху, вышла на середину реки и стала спускаться вниз. Тогда опять стали слышны человеческие слова и шум весел, очень приближенные, точно где-то рядом. Кто-то из парней пошутил, девки сначала засмеялись, потом сразу притихли.

Лодка причалила около моста, долго возились, ссаживаясь, перевозчик собирал бумажки, парни все хотели балагурить. Теперь можно было уже различить корявые тени людей, у которых были освещены грудь, колени и подбородок. Все пошли по проселку вверх, от них отделилась одна свечка и пошла по тропке к сторожке, — Аринина. Иванов придерживал Гека, он рвался к берегу.

Арина шла медленно в гору, крепко ставя широкие свои короткие ноги в сапогах в липкую грязь и дышала шумно. Свечка освещала ее грудь, большую, в красной кофте, которую было видно из-за расстегнутого дипломата; свет падал снизу на наклоненное ее лицо, отчего ясны были губы, сизые скулы, черные, коромыслами брови, глаз не было видно во мраке; глазницы казались огромными; мрак отодвигался от света, и выдвигались вперед белые стволы березок.

Иванов пересек дорогу Арине. Арина остановилась близко от него и вздохнула, горячее ее дыхание долетело до Иванова.

— Испужал как, — сказала она покойно и протянула руку. — Здравствуй. У двенадцать-евангелий была. Испужал как!

Иванов потянул руку Арины к себе, она отстранила ее, сказала строго:

— Нельзя, домой спешу, некогда. И не думай!

Иванов улыбнулся слабо и опустил руки.

— Ну, хорошо, ну, ладно. Завтра к ночи приду, жди, — сказал он тихо.

Арина пододвинулась к нему и ответила, тоже тихо:

— Сюда приходи. Здесь и погуляем, ну его, отца. А теперь уходи, спешу, уборка! А ребеночек у меня под сердцем, чую я... Иди, ступай!

Когда Иванов шел домой, выгоном, с черного невидимого неба стали падать крупные, теплые, первые дождевые капли, падали сначала редко, шумно шлепаясь о кожаную куртку, потом западали часто, и все слилось в гулкий, весенне-дождевой шелест. Около дачи Гек бросился в сторону, к оврагу, там зашумели, курлыкая тревожно, журавли, — залаял Гек. В усадьбе откликнулись собаки, им ответили собаки в селе, затем еще где-то, совсем далеко, и над землею понесся весенний звонкий собачий лай.

В парке с главной аллеи на боковую юркнул огонек папиросы, потом у калитки Иванову повстречалась Аганька.

— Шмыгаешь все? Курильщика завела? — спросил Иванов.

Девка рассмеялась громко, побежала, шлепая по грязи, во мраке к скотному сараю, крикнула невинно:

— А молоко вам в кабинете на окно поставила!

Иванов постоял на крыльце, соскребая с сапог скребком грязь, потянулся крепко, размял мышцы, подумал, что сейчас надо лечь спать, спать крепко, бодро, чтобы встать завтра на заре.

IV.

В гостиной около рояля, над диваном и над круглым столом горела люстра, много лет уже не зажигавшаяся, верно с последнего рождества пред революцией. Неяркий желтый свет свечей, поблескивая тускло в запыленных подвесках, освещал рояль, окна в плотных плюшевых стенах, портрет над диваном, диван, круглый стол, ковры, пуфы; там же, где были двери в зал и угловую, в другом конце комнаты, куда вошло уже окончательно разрушение, исчезли от неведомой руки стулья, кушетки, кресла и лишь была свалена рухлядь в углу, — туда не заходил свет, там были тени бурые и смутные. Сторы были плотно сдвинуты; за ними стала черная ночь и шумел дождь.

Лидия Константиновна долго играла на рояле, сначала бравурное, из оперетт, потом классиков, „Тринадцатую рапсодию“ Листа, кончила же наивной музыкой „Летней ночи в Березовке“ Оппель, — вещью, которую играла Иванову, когда была еще его невестой, — проиграла ее дважды. Затем оборвала музыку резко, поднялась и рассмеялась короткими, злыми смешками, пила коньяк из высокой узенькой рюмки мелкими медленными глотками и смеялась громко и зло. Были глаза ее еще красивы, красотою озер в листопад. Села на диван, откинувшись к спинке, закинув руки за голову, отчего поднялась высоко грудь в голубой кофточке; ноги свои, под шелковой черной юбкой, в ажурных чулках и лаковых ботинках, скрестила свободно, положила на низенький пuf. Пила коньяк очень медленно и много, присасываясь красивыми губами к рюмке, и злословила — о себе, об Иванове, о революции, о Москве, о Крыме, о Марьином Броде, о Минтзе.

Потом притихла, глаза поблекли, стала говорить уже тихо и грустно, с беспомощной улыбкой.

Минтз пил, ходил по гостиной, стуча громко каблуками, и говорил насмешливо, шумно и много. Коньяк шел по жилам, разжигая уставшую уже кровь, мысли становились четкими и недобрыми, шли сухо и зло. Когда Минтз выпивал рюмку, он снимал на минуту пенснэ, глаза становились злыми, беспомощными и пьяными.

Лидия Константиновна села в угол дивана, прикрыла пледом плечи, поджала под себя ноги.

— Минтз, как пахнет Шипром, — сказала она тихо. — Ну, да, я пьяна. Ну, да, когда я много пью, мне начинает казаться, что духов слишком много. Я задыхаюсь ими, я чувствую во рту их вкус, они звенят у меня в ушах, меня тошнит... Пахнет Шипром, моими духами, — вы чувствуете?.. Через час у меня будет истерика. Это у меня всегда, когда я много пью. И мне уже не радостно, мне тоскливо, Минтз. Вот на этом диване я... как-то проплакала ночь... как тогда было хорошо! — Я плохо понимаю, что говорю.

Минтз ходил чересчур рассчитанными шагами. Он остановился против Лидии Константиновны, снял пенснэ и сказал хмуро:

— А я, когда пью, очень хорошо начинаю понимать все: и то, что нам тоскливо, потому что мы, шут его знает, чем и зачем живем, и то, что без веры жить нельзя, и то, что душа ваша истаскалась по кафе, мансардам и прочим „гие“, и то, что мерзость всегда все-таки первым делом есть мерзость... И то, что сейчас мы пили, потому что нам тоскливо и пусто, как всегда, хотя мы и шутили, и громко смеялись. И то, что за окном сейчас весна, и там радости и красоты много, не той, что в наших подведенных душах и глазах. И то, что революция прошла мимо нас, выкинув нас за борт, хотя сейчас и „нэп“,

наша улица... И то, что... — Минтэ не кончил, круто повернулся и пошел нарочито-уверенными, шумными шагами в темный конец комнаты, где была свалена рухлядь.

— Ну, да... Вы правы, что же... — ответила Лидия Константиновна. — Только ведь я не люблю Сергея, никогда не любила.

— Очень прав, — откликнулся строго из темного угла Минтэ. — А других люди никогда и не любят. Себя через других любят.

Из зала вошел с ружьем, в фуражке и в грязных сапогах Иванов. Он прошел в свой кабинет. Минтэ проводил его молча, строгими глазами, потом пошел за ним, в кабинете оперся рукою о косяк, сказал, усмехаясь:

— Вы все время избегаете меня. Почему?

— Это вам показалось, — ответил Иванов.

Он зажег на верстаке свечку и стал переодеваться снял кожаную свою тужурку, повесил ружье, сменил сапоги.

— Мне очень редко кажется!.. Но это пустяки, — заговорил Минтэ холодно. — Я хочу вам сказать о том, как у вас хорошо тут. У вас тут очень хорошо... Я вот пишу картины, продаю их и опять пишу, чтобы продать. Впрочем, теперь я не пишу ничего, уже давно... Живу по чердакам один потому, что мне нужно свету, и потому, что на чердак жену не потащишь... Да жены у меня и нет, она давно уже кинула меня! У меня — любовницы... И я завидую вам, потому что... потому что на чердаках очень холодно... Понимаете? — Минтэ снял пенснэ, его глаза стали беспомощными и злыми. — И от лица всех, кого измотало, кто весеннюю красоту парка меняет на эротику диванов, кто за диванами потерял Россию, — я говорю, что у вас очень хорошо, и мы вам завидуем. Тут и работать можно и, даже, — жениться... Вы никогда ничего не писали?

— Нет, не писал.

Минтэ помолчал, сказал вдруг очень тихо и слабо:

— Слушайте! У нас есть коньяк. Выпьемте?

— Нет, благодарю. Я хочу спать. Покойной ночи.

— Поговорить хочется!..

Иванов потушил свечу, ощупью, по привычке, нашел на окне молоко и хлеб, стал есть, стоя и быстро. Минтэ постоял немного у косяка, потом вышел, захлопнув плотно за собою дверь.

Лидия Константиновна сидела, опустив ноги на ковер, низко склонив голову. Ее глаза в длинных ресницах, точно осенние озера в камышах, были прозрачны и пусты. Руками она обхватила колени.

— Что Сергей? — спросила она тихо, не поднимая глаз.

— Он очень черств и лег спать, — ответил Минтэ.

Он хотел сесть рядом с Лидией Константиновной, но она поднялась, машинально поправила волосы, улыбнулась слабо и нежно, в пространство, — не Минтэ.

— Спать? Ну, что же, пора спать! Всего доброго... — тихо сказала Лидия Константиновна. — Как мучат духи. Голова кружится.

Лидия Константиновна пошла в другой конец комнаты. Минтэ пошел за ней. В дверях она остановилась. Был мрак, в котором четко слышался шум весеннего дождя. Лидия Константиновна прислонилась к белой двери, откинула голову и заговорила, не глядя на Минтэ; хотела сказать серьезно и просто, и получилось сухо:

— Я очень устала, Минтэ. Я сейчас же лягу спать. И вы ложитесь. До утра. Больше не увидимся сегодня. Понимаете, Минтэ? Я не хочу.

Минтэ стоял, расставив ноги, и, положив руки на свою талию, опустил голову. Он улыбнулся, верно, печально, и неожиданно мягко ответил:

— Ну, что же! Хорошо. Я понимаю вас. Хорошо.

Лидия Константиновна протянула руку и сказала так, как ей хотелось, товарищески-просто:

— Вы, я знаю,—чиник, злой, одинокий, усталый, как... как старый бездомный пес!.. Но вы хороший и умный... Вы знаете, я от вас никуда не уйду,—мы такие... Но сейчас я пойду к нему... Верно, последний раз.

Минтэз поцеловал руку, молча, и пошел, высокий, kostлявый, сутуясь немного, по коридору, шумно стуча каблуками.

V.

В спальне Лидии Константиновны, где, как раньше, стояли двухспальная кровать из красного дерева под балдахином, комоды, шапы, шифоньерки, огромный гардероб, и пахло молочаем,—было темно и холодно. За окнами шумел дождь.

Лидия Константиновна зажгла около мутного зеркала две свечи. На комоде стояли туалетные безделушки, оставшиеся еще от ее детства, валялись вещи, привезенные вчера. Свечи горели слабо, потрескивая, их языки мутно ползли по зеркалу.

Лидия Константиновна переодевалась, надела широкий халат из зеленой карузы, переплела свои волосы в косы и сложила их венцом на голове, голова стала сразу казаться очень маленькой и хрупкой. По привычке открыла флакон с духами, провела мокрыми в духах руками по шее и груди, и сейчас же у нее закружилась голова. На постели простыни были холодны и влажны, от них, казалось, тоже пахло Шипром.

Лидия Константиновна села на кровать, сидела долго, в карузовом своем халатике, прислушиваясь к дому. На даче все время выли и лаяли собаки. Изредка вскрики-

вали спросонья вороны на вязах в парке. Часы пробили одиннадцать, потом половину, кто-то прошел по коридору, Агаша убирала в гостиной, в угловой ходил Минтэз, затем стало тихо.

Лидия Константиновна подошла к окну, долго смотрела во мрак. Потом бесшумно вышла из своей спальной и пошла в кабинет к Иванову. Холодок, мрак и тишина нежилых комнат подбирались со всех сторон. Комнаты были большими, безмолвными, черными. В гостиной мутно горела забытая свеча, от стола отбежала крыса. В кабинете опять стал мрак, пахло столярным kleem и сбруей.

Иванов спал на диване, лежа на спине, раскинув руки; его едва можно было различить. Лидия Константиновна села около него и положила руку ему на грудь. Иванов вздохнул, передвинул свои руки и быстро поднял голову от подушки.

— Кто тут?—спросил он.

— Это я, Сергей, это я—Лида,—ответила Лидия Константиновна шепотом и быстро.—Ты не хочешь говорить со мной. Я устала. Я приехала шутя, не думая о тебе, и вдруг мне стало тоскливо... Ах, как мучат духи...

Лидия Константиновна замолчала и провела рукой по лицу. Иванов сел рядом.

— Что ты говоришь, Лида? Что тебе надо?—спросил он охрипшим от сна голосом, закуривая папиросу; огонек осветил их, сидящих рядом на диване, полураздетых. Иванов был лохмат и громоздок.

— Что мне нужно?.. Люди стареют, Сергей, и страшна одинокая старость... Я устала... Я приехала сюда шутя и вдруг затосковала. Мне все вспоминается прежнее наше, прошедшее... Я все играла „Летнюю ночь в Березовке“,—помнишь, я играла тебе ее?—тогда... Ну, вот... люди стареют, и мне хочется своего дома... Сегодня двенадцать

евангелий... Неужели у нас уже нет слов друг другу?..
Ты был у Арины?

Иванов молчал.

— Я много тосковал и мучился, Лида,—но не в этом дело,—начал он.—Эти четыре года я прожил один, я прощался со старым, оно ушло навсегда. Я четыре года боролся со смертью, боролся за картошку. Ты этого не знаешь, мы чужие люди.—Да, был у Арины. У меня будет сын. Я не знаю, устал ли я или еще что-либо, но сейчас мне хорошо, Арину я приведу сюда, она будет хозяйкой и женой. И я буду жить... Я иду в ногу с какой-то стихией... У меня будет сын... Идет другая жизнь, Лида.

— А в Москве по-старому — вино, театр, рестораны, Минтэ, шум... Я устала.

— Я не могу помочь тебе, Лида. Я тоже устал и мне теперь покойно. Это делает каждый сам.

Иванов говорил очень покойно и просто. Лидия Константиновна обе свои руки сжала в коленах и сидела сгорбившись, неподвижно, точно было больно пошевельнуться. Когда Иванов смолк, она бесшумно поднялась и пошла к двери, остановилась на минуту в дверях и ушла. В гостиной все еще горела свеча. В доме была тишина.

VI.

Рассветом, когда солнце еще не поднималось, в окно к Иванову крепко постучал Игнат и крикнул:

— Вставай, Митрич! Закладать сейчас буду!

Дождь перестал, был ясный утренний холодок. Пол-неба горело розовым, а от земли шел серебряный туман. Иванов вышел на крыльцо и вымылся там из ведра ледяной водой. Игнат возился с лошадью, покрикивал на нее.

— Сейчас, Митрич, кряквы пролетели, шут их дери!—
крикнул он весело.

Из скотного сарая вышла с подойником Аганька, за нею шумно бежали куры, ожидая утреннего корма. На дереве перед крыльцом, около скворешника, села скворчиха и стала пи-икать, протяжно, однотонно; прилетели два скворца, щетинили перышки, грозно посвистывали, потом стали драться.

ТРИ БРАТА

I.

Память знает эти медовые пряники с горькой миндалевой посреди,—память хранит те медовые дни, как мед мне, пришедшему, в сущности, со всяческих Иргизов. Там степь, Заволжье уперлось—не в Волгу, а в Трех Братьев, которые в географии, кажется, являются собой кусочек Ергеней. Волга узка и пустынна, хоть и нижний здесь начинается плес. Река Караман опоясала Катринштадт, и немцы курят трубки—Трем Братьям и степи.

Без четверти семь утра бьют в кирке колокола, и вся колония сидит за столом за кофе. В семь утра бьют в кирке колокола, и вся колония за работой. Память—я смотрю в окно дома Gross-Mutter: одинокий верблюд утверждает Азию, „ночь Азии“, „змеиную мудрость“ и драконов—змеиной шеей, драконьей головой и степным спокойствием, — недаром „спокойствие“ и „степь“озвучны. За окном пустынная площадь, пятьдесят градусов жары по Реомюру и колокольня кирки, которая плавится зноем,—а там дальше, кажется в тридцати шагах, стоят Три Брата. Генрих Карлэ, друг моего детства, говорит у окна:

— Wollen wir spazieren gehen?—мне, переводящему на русский, очень смешно:—„хотим мы итти гулять?“.

В без-четверти двенадцать бьют на кирке колокола (металлический, не русский звон), и вся колония сидит за обедом и затем—прикрыв ставни и раздевшись, как на ночь, спит. Мне темно даже читать и я лежу, задрав ноги, грызу пальцы и думаю о том, почему воры не воруют здесь днем,—очень скучно вспоминать, что здесь вообще не воруют. Колокол бьет в три, тогда пьют кофе, в пять и в восемь. В девять вся колония снова спит, уже на ночь. Рабочий день—колоколом—ликидируется в пять. В гости ходят от пяти до восьми, до ужина. Гостям дают медовых пряников с горькой миндальной посреди, рюмочку вина и предлагают сыграть партию домино. Gross-Mutter имеет пять пар туфлей, все они стоят у порогов, в одних она ходит по двору, в других по коровнику, в третьих по кухне, в четвертых по столовой, в пятых по гостиной,—это чтобы соблюсти чистоту. Полы моют каждый день, а дом снаружи—по субботам. В коровнике полы моют тоже по субботам. Непонятно—люди для чистоты, или чистота для людей. У Gross-Mutter, на лесенке, есть шкаф с вином, я понял, что самое разумное, когда спят днем после двенадцати, обследовать этот шкаф, чтобы на самом деле заснуть к трем.—Мой отец, Андрей Иванович Богау (Андреас Иоганнович?),—русский земский врач. Мы сидим у дяди Александра, тетка Леонтина делает такой вкусный пунш,—мне бы сходить с Ирмой в Катрин-гарден!—но дело не в этом, дело в том, что Gross-Mutter, запирает калитку на замок ровно в восемь, когда бьет колокол на кирке, а сейчас десять, и мой отец сокрушенно стоит у забора, я лезу на забор вперед, отец за мной; на дворе отец шепчет мне:

— Сними, Борюшка, сапоги. А то нашумим мы и наследим.—И я, и отец, мы идем по двору и в коридоре на цыпочках, в чулках, чтобы лечь бесшумно. Отец

закуривает папиросу,—и на крашеном полу, блестящем зеркально, четко отпечатаны следы наших чулок. Отец зажигает вторую спичку, папиросу вставляет в угол рта, покачивает головой и говорит уже на языке, которым встретил жизнь:—„O mein lieber Gott“—я и он сидим на полу, заговорщики гмыкаем и стираем следы с пола носовым платком. Утром мы все равно попадаем с поличным—платками. А отец сидит с дядями, при чем у каждого дяди по трубке с каучуковым мундштуком, шеи в шарфах, лбы под широкополейшими соломенными шляпами, лица бриты и носы сизы в расплавленном дне:—отец рассказывает дядям о непорядке и непорядочности русских, о земском деле и бездельи; немцы слушают, курят и говорят степенно:

— Ho, mein lieber Gott!

Ну, да. Бабушка, милая, милая Gross-Mutter Анна, повезет меня на кабриолете за Караман, в „займи-ш-тэ“ (сиречь займище). Милая бабушка Анна сошет мне штаны и курточку на рост и поведет меня на тир, где немцы состязаются по воскресеньям на звание короля стрельбы. Я приехал туда—на лодке под рваным парусом, с сизолицым немцем в шляпе, как зонтик, по мутноводной Волге,—на лодке, которая блестела русской в Пасху горницей и так сладостно—Стенькой Разиной для мальчишки—пахнуло варом. Я помню верблюда, утвердившего мне Азию, „ночь Азии“ и „змеиную мудрость“ драконов—песчаной своей шерстью, степным спокойствием и криком своим, заключившим в себе всю культуру Турана. У меня—от милой, милой моей бабушки Анны—еще до сих пор есть шерстяные чулки, красные с синими полосками, такие добротные и неизносимые, как вся немецкая культура. Бабушка тогда мне, ребенку, рассказывала, как, когда немцы впервые пришли сюда на Волгу, они вели войну с киргизами; один раз киргизы поймали в займи-

щах на Карамане тридцать немцев и вырезали им языки; а немцы, излавливая конокрадов-киргизов, закапывали их в стога и сжигали заживо; моя детская фантазия рисовала тогда: зеленые степные ночи и обязательно верблюдов, много верблюдов; мне было очень тесно от рассказов бабушки...

Остальное я предлагаю читателю узнать у историков. Вот адреса: Село Екатериненштадт (или Баронск) Самарской губернии, Николаевского уезда, затем в революцию 1917 года—город Марксштадт, столица Коммуны немцев-колонистов Поволжья, почти федерации Российской Республики (город Николаев стал городом Пугачевым), потом после пятого года революции, в Великий Голод: Штербштадт—Умирай-город, ибо часть немцев была просто сплавлена в Волгу, а другие части покатали на своих фурах—на Кавказ, в Туркестан, даже в Германию. Подробности—у историков, в примечаниях к томам „Истории Великой Русской Революции“.

Затем у меня сохранилось еще такое воспоминание от детства. Это было в Можайске, где отец был врачом. С мальчишками я ходил на Козью горку ловить птиц; надо было проходить мимо железнодорожной водокачки и насыпи, в которой лежали водопроводные трубы; и вот под эту насыпь был проделан ход, чтобы надсмотрщики могли лазать туда на четвереньках; мне, мальчишке, тоже надо было слазить, чтобы обследовать подземелье, как мальчишки обследуют всю жизнь: я полез, и на меня из-за гнилых досок обвалилась земля, я не мог ползти ни назад, ни вперед,—меня выручили мальчишки, которые вытащили меня оттуда за ноги,—и вот помню, тогда там, в подземельи, мне было так же тесно, как от рассказов бабушки о немцах, которым киргизы на Карамане вырезали языки.

II.

Лето тысяча девятьсот двадцать первого года, один, я жил в тридевятом государстве. Добрый человек, Ольга Алексеевна, мне приносила кипяченую воду, чтобы пить. Часы остановились, и я их не заводил. Я жил в очень хорошем содружестве—с самим собой, пылью и велосипедом. Из комнаты ребятишек я перевесил к себе черные занавески. У меня в кармане прибавилась небывалая вещь—делая связка ключей. Я вставал—когда просыпался, шел на реку умываться и за водой. На базаре знакомая торговка оставляла мне бутыль молока; хлеб и масло я привозил от жены из Новоселок. У меня было единственное богатство—пуд керосина, и я мог бодрствовать, не считаясь с солнцем: я очень хорошо изучил эти зеленоватые, зыбкие, необыкновенные июньские рассветы. Бодрствуя, я писал повесть о „Рязани-яблоке“, читал „Историю Гончих Собак“ и „Рыбы России“. У меня никто не бывал. У меня была связка ключей, и потому случалось так, что дом был заперт, чтобы покоить пыль, а окно в палисад мирно грелось на солнце, мирно раскрытым. Через два дня на третий ко мне приходила хожалка, она сначала сидела на крыльце, иногда ставила самовар и варила мне картошку, тогда мы пиршествовали, и она шла спать на женину постель. Обыкновенно я уезжал в Новоселки, когда приходила хожалка.

Я жил на погосте, в домике о пяти окнах; из окна я видел древнейшую церковь и сейчас же за домом протекала Москва-река. Справа от меня жил батюшка, слева, за огородом—семья жуликов. Дом батюшки был с моим домом забор в забор. У батюшки умерла жена. Батюшка жил отшельником. По двору и по садику у себя батюшка

ходил в белых штанах, в женской кофточке и шляпе. Однажды утром я учуял у себя в доме, что, должно быть, куда-то рядом приехало сорок ассенизаторов. Все же я тщательно осмотрел мой дом,—и я открыл истину (ведь истин так много!): батюшка откупорил ямку под своим задним крыльцом, в другом углу двора он вырыл вторую ямку, и вот, ведерком, у которого ко дну и к ручке были привязаны две веревочки, чтобы не мазать рук, батюшка носил жидкость из одной ямки в другую; в шляпе, в кофточке и в белых штанах, он делал это методически, полтора дня. В этом, конечно, отразилась революция, как и в том, что батюшка вел записи, как в школах, всех приходящих и не приходящих в церковь прихожан, и запирал церковь, как Художественный театр, в час богослужения. У батюшки было расписание треб и стоимость их продуктами. Я не могу отозваться о батюшке без уважения: он, отшельник, истинно веровал своему Богу, до горения, и те немногие, сгорбленные и в черных одеяниях, что из службы в службу приходили к нему, запирались в церкви на общую молитву с катакомбической напряженностью,—там, в запертой церкви, хор заменяли все собравшиеся.—Слева от меня, за огородом жила мирная семья жуликов, трудолюбивых, как муравьи. Я наблюдал, как отец тащил домой ему не нужные водопроводные трубы (впоследствии они заменили жердины в заборе), два полена, нарядный чемоданчик. Сын и мать были заняты иным; сын, тощий мальчишка лет десяти, с утра до вечера, по мелочи, за пазухой, таскал из садов яблоки, ночами он лазил за яблоками с корзиной, и мать была занята сушкой яблок впрок. Все же мои жулики жили очень нище (ведь это был год Великого Голода), и когда на огородах поспела свекла, капуста и огурцы,—они питались только ими. В их доме было так же интересно, как, должно быть, у Плюшкина;

домик стоял в саду за огородом, с глухим двором вокруг, и дом и двор были завалены совершенно неожиданной рухлядью; мне все время хотелось купить у них стариннейший клавесин. От этой рухляди у них было очень пыльно и пахло, как в слесарной. У них было одно богатство—корова, за коровой ходила черная старуха. И вот эта сестра жены, сухая старушка, Анфиса Марковна,—заговаривала, у нее была слава и практика, уж не знаю, как сказать, не то знахарки, не то ведьмы, что в сущности, должно быть, одно и то же.

Через два дня на третий приходила ко мне хожалка, обыкновенно к этому времени съедался хлеб и я уже не прочь был съесть горячего супу. У меня—старенький женский велосипед, начавший свое существование вообще с начала существования велосипедов, поэтому даже не мобилизованный,—я и ехал на нем в Новоселки. Когдато были помещики Енишерловы, они исчезли вместе с революцией, но дом остался в старом парке, засаженном лиственницами и буками, на холме между оврагами и рекой Коломенкой, совсем один в лесу. В революцию дом отбыл постои: и детской колонии, и трудармии; потом его заколотили. И нынче, в мезонине на лето, поселилась моя жена с дочерью и собачкой Малышом. Каждый раз, когда я приезжал ночью (всю дорогу провожали меня коростели), дом с главной алеей утверждал мне подлинность Тургенева, верилось в тургеневскую девушку, которая сейчас выйдет с террасы,—на Коломенке кричали лягушки. Но я чаще приезжал днем, и меня встречала жена—в лесу, с батожком в руке, в том очарованье, которое есть в каждой женщине нездолго до родов. У нее в руке батожек, и вид ее немного дик и сосредоточенно-рассеян: это потому, что она с утра до ночи сходит с ума о грибах, и ее глаза не могут не заглянуть под каждый куст. Мы все в Новоселках сходим с ума о

грибах. В Новоселках, в мезонине у нас нет ни одного стула и только один стол, мы живем на полу, где у нас постели, а у дочери Наташки, кроме игрушек, и зеркало. Утром дочь Наташка подсаживается ко мне на корточки и командует:

— Раз, два, три, пали! — я вскакиваю под команду, ем пресную лепешку, пропахшую, как все, земляникой. Мне не важно, что новоселковский дом знает длинную историю, с императрицы Екатерины, — я обуваю чуньки, беру корзинку и иду за грибами, я нашел свое место, в овраге. В полдень мы состязаемся в количестве белых, — и все побитые рамы, крыши, двери украшаются четками грибов. Шут его знает — четки грибов тоже, должно быть, какая-то мистика, быть может, как роды жены моей. В лесу, лес пахнет земляникой. Вечером иногда приходит — тоже жулик, крестьянин, огорожившийся и этим погибший, Иван Андреевич: он почему-то не стесняется говорить о том, как ворует дрова в роще, и предлагает их нам; надо будет, по знакомству, купить у него! И вот он рассказывает, что ржаной колос, которому надо цветти еще через неделю, что, если такой колос положить на четверть часа в волосы женщины, он расцветет за эти четверть часа в волосах женщины, из него, из колоса, выпадут его золотые, несущие пыльцу, тычинки; это бывает потому, что в женщинах есть нечистая сила. Это мне показалось чрезвычайно необыкновенным, это как раз те мелочи, которые я собираю, как мед, для моих рассказов. Я спрашивал, — мне это подтверждали, и крестьянские девушки подтверждали это смущенно. Вечерами с Коломенки поднимался туман. Наташка спала. На единственном столе горел моргас, жена, во всем в белом, стояла у этого единственного стола и переплетала на ночь волосы. Мы говорили о грибах. Я лежал на полу и курил папиросы.

III.

Мне выпал такой день. Утром (собственно днем) меня разбудил почтальон. Во мне смешались четыре крови: немецкая, русская, татарская и еврейская; точнее, собственно, так: русско-татарская, немецкая, чуть-чуть еврейской. Утром мне почтальон принес письмо с родины русско-татарских кровей от сестры. Вся моя боль — там, в русско-татарской моей стране; боль, ненависть, любовь и нежность, все мои Иргизы. Та Маруся, которая упоминается в начале письма, умерла в 1920 году от голодного тифа и ее схоронили в Москве на Донском кладбище, — ее, Марусю Лобачеву, мою Лэдку. Сестра писала:

„Сказать мне хочется, что я очень тебя люблю и что мне очень часто тебя недостает, а теперь после смерти Маруси и еще чаще. Когда я в прошлом году уезжала, я видела вас, тебя и Марусю, последний раз из вагона: вы стояли на площади и машали мне, и я как-то вдруг почувствовала, что вы оба самые близкие мне люди, и почему-то, когда я начинаю тебе писать, я вспоминаю ту минуту, свои тогдашние мысли и слезы, и реву. Реву и сейчас.

„В сущности очень нехорошо, что мы живем раздельно. О том, как мы живем, тебе поди все писала мама. Папа служит (ходим на службу мы с ним вместе, очень трогательно — под ручку с мешками за спиной и портфелями под мышкой). В отделе читает твои письма и знакомит меня со всеми: „моя дочь, агроном“, — чем приводит меня всякий раз в смущение), рыщет по уезду, в погоне за хлебом, всем грозит голодной смертью, сердится, когда люди живут не так, как ему кажется нужным, очень устает. Мама стряпает, ставит самовары, чинит

белье, моет посуду, делает по необходимости то, что она больше всего не любит. Изредка ходим мы с ней гулять, покупаем стакан семячек и ходим по задворкам на горах и в Глебычевом овраге, или идем по родственникам, чаще всего к тете Даше. Тетя Даша в лицах представляет, как торгуется из-за старого подсвечника на базаре дядя Толя, как ловко он обошел мужика, обменив ему ломаный будильник на два пуда мятых помидоров, как у Галенъки вытащили из кармана деньги, а тетя Катя уверяла публику, на Немецкой улице, о своем умении врачевать и в том, что Спасококодский основывает лечебницу ее имени, как тетя Женя торгует в обжорке „лимонадчиком холодненьким“ и как это выгодно. Живут Круговы отвратительно. Дядя Толя выжига, покупает себе потихоньку белый хлеб, сахарин и припрятывает это от всех, выдает тете Даше один раз в день немножко щепок на таган для готовки обеда, не позволяет сидеть с лампой. Грязь у них, теснота, вонь. Леонид нигде не работает, ничего не делает, лежит на диване и читает историю французского искусства, жена его умерла, и Люська спускает меха и платья, оставшиеся после матери. Вся наша родня—буржуи, спекулируют на базаре по-маленькой, размаха нет, да и денег тоже, а так „на сахаринчике“.—

Я прочел это письмо, и мне стало тесно. Сестру, мать и отца я люблю больше всех. Мне стало тесно, я вспомнил мое детство. Можайск, Екатериненштадт. Это письмо было из Саратова. Все же в тот день я проделал, как всегда, свои утренние дела, ходил на реку мыться, оттуда через Кремль на базар за молоком. У моих соседей произошло событие, нарушившее их мирный быт: к батюшке приехала дочь-коммунистка с трехмесячным ребенком. Мне было странно, как у такой женщины мог появиться ребенок. Она внешностью походила на монашенку, ей обязательно надо было пойти на костер, чтобы

сгореть за свою веру, она привезла в местный исполнком свою идею социалистического—канцелярского—делопроизводства, она ходила всегда с опущенными, горящими глазами: ее горением было горение революции. Ее ребенок остался на руках отца, ребенок все время так жалобно плакал: и батюшка обратился к моим соседям слева, к знахарке Анфисе Марковне,—Анфиса Марковна три зори подряд грызла пупочек ребенку, заговаривала, чтобы ребенок не плакал. Как это у них там делалось, я не знаю. Дочь батюшки горела только революцией, не могло быть компромиссов,—и она, дочь, запретила отцу запирать церковь во время богослужений, она донесла на отца в политбюро, и с батюшкой взяли подписку, чтобы он не вел книгу записей приходящих и не приходящих молиться. И агенты же политбюро повезли, в один прекрасный день, от моих жуликов всяческую рухлядь.— Вечером ко мне приходил милый большевик Николай Смоленский, потом подошел Топтыгин (мне, не большевику, вообще легче вести компанию с большевиками, у них есть бодрость и радостность), мы устроили пир: Топтыгин засучивал рукава, готовил и пек вкуснейшие оладьи. Мы говорили о революции. Так Смоленский—коммунист, Топтыгин—шут его знает кто, бывший (изгнанный) большевик, и я—в сущности, анархист, определяющий себя полуслуги, полуверье, как „большевик, но не коммунист“: мы все трое любили революцию, как надо любить все стихийное, буйное, ледоломное, когда ребром ставится только две вещи, жизнь и смерть. Я доказывал одну из яснейших мне вещей: то, что Великая Русская Революция пошла, шла и прошла свой путь русской нашей сказкой об Иванушке-дурачке. Но и эта мысль—пустяки.

Той ночью я видел сон.—Без четверти семь бьют в кирке колокола, и вся колония сидит за столом, за кофе.

Памятью—я смотрю в окно дома Gross-Mutter, одинокий верблюд утверждает мне Азию, „ночь Азии“, „змеиную мудрость“ драконов—песчаной своей шерстью, степным спокойствием и криком своим, заключающим в себе всю культуру Турана. Но сны у меня бывают всегда голубоватыми. Мне во сне надо было куда-то бежать, а в снах нельзя бегать, спутаны ноги, от этого делается неимоверно тесно. Я проснулся, и еще в яви—в полусне—видел Трех Братьев, Дрей Брудер, что стали там на Волге, против Катринштадт. На дворе был шум; я отворил окно: за заборчиком батюшка проклинал свою dochь, так, как надо проклинать по обычаям православной церкви, как анафематствуют на первой неделе великого поста Емельяна Пугачева.

IV.

Здесь я кончу свой рассказ. Дело в том, что если искусство все, что я взял из жизни и слил в слова, как это есть для меня, то каждый рассказ всегда бесконечен, как беспредельна жизнь. Drei Brüder по-русски: три брата. Это вот те три избы, что стоят рядом. Иван Андреевич мне рассказал, что рожь расцветает в волосах женщины. Будет новое лето, еще много лет, когда я пойду в рожь и узнаю, так ли это. Память знает эти медовые пряники с горькой миндалиной посреди.

Лето 1921 г.

РАССКАЗЫ О МОРЯХ И ГОРАХ

ВСЕГДА КОМАНДИРОВКА.

I.

Весь день провел на карьере, подкладывал фугасы и рвал известняк. Внизу, в лощине, лежал завод, дымились трубы, к карьеру и от него бегали, поскрипывая, вагонетки. Наверху, над обрывами, стояли мокрые сосны. Небо весь день было серым, сырьим, дым из труб стлался по земле. Фугасы взрывались с рокотом и дымом.

Шел домой с штейгером Бицкой, уже упала осенняя темнота, и ярко горела турбинная. Инженерский поселок лежал по ту сторону, в расчищенном лесу, цементные постройки домиков стояли однообразно, горели, свистели голубые шары фонарей, кидая черные тени от сосновых ветвей и стволов. Кожаная куртка прилипла к спине, верно, так же она прилипла и у Бицки. Бицка говорил:

— Дома сейчас чайку, казетка, Александр Александрович, шена,—Бицка недавно женился.

А в доме инженера Александра Александровича Агренева было темно, в окна падал свет фонарей, и лишь в комнате жены, сквозь плотно сдвинутые двери виднелся свет: любимая жена, одна на всю жизнь,—чужая. Раздевался, мылся, пошел дождь—зашумел по крыше, взял газету. Вошла горничная, сказала—чай готов.

Анна высокая, тонкая, прекрасная, чужая, стояла у окна, спиной к нему с книгой; около, на подоконнике стоял стакан, запотело стекло. Не повернулась, сказала—наливай чаю.

Электричество горело ярко и холодно. Пахло kleem от свежих поделок. Не сказала больше ни слова, тонкие пальцы перебирали страницы,—читала стоя, склонив голову. Спросил:

— Ты уйдешь вечером, Анна?

— А? Нет, буду дома.

— Кто-нибудь придет?

— А? Нет, никто. А ты уйдешь?

— Не знаю, наверное. Завтра я еду в командировку, на неделю.

— А? Да, в командировку.

Остался, остался бы, говорил, говорил бы бесконечно много—обо всем: о том, что без личного невозможно, без любви нельзя, о своей любви и о тоскливых своих вечерах,—и тоже замолчал.

— Ася спит?

— Да, уже.

На столе, на холодной белой скатерти, в прямых складках—стоял никелевый чайник, одинокий стакан. Ровно щелкали часы.

— Не обманет, не изменит, не уйдет,—а чужая, чужая,—и мать.

II.

Мрак окончательно укутал землю, фонари вырезывали в нем белые шары, дождь капал безнадежно, безнадежно ревел заводской гудок.

Шел по квадратным аллеям парка через парк, к клубу, не дошел, свернул к школе, пошел к Нине: вместе в маленьком городишке учились—и с тех пор, ибо любовь одна,—он остался для нее навсегда—одним, единствен-

ным; металась по России, боролась с собою, с ветряными мельницами своей чести,—не смогла, сломилась, приехала, чтобы жить подле.

Шел темными коридорами школы, постучал.

— Войдите.

В маленькой комнате, у маленького столика—с книгой, одна, в сером платке, некрасивая, с щекой, покрасневшей от ладони,—и заметил с тоскою, что глаза ее углубились, засветились нежно, встала, кинула книгу.

— Ты, милый? Здравствуй. Дождик?

— Здравствуй. Пришел посидеть.

— Скинь пальто, хочешь чаю?—протянула обе руки, без слов говорила:—спасибо, спасибо.

— Как живешь?

— Устаю. Ничего. Очень устаю.

Ставила в игрушечной кухонке самовар, на столе, около тетрадей, раскладывала баночки, с вареньем, усадила в единственное кресло,—суетилась, улыбалась, алея щека—не могла померкнуть—в том месте, что подпирала ладонь весь долгий вечер,—любящая, отдавшая все, от которой ничего не надо.

— Не надо... суетиться. Потолкуем... Сядь же.

Так нежно коснулась руки, стала рядом.

— Что, милый?—гладила руку, обжигалась касаниями.—Что, милый?

Иногда негодовала, ломала руки, говорила с ненавистью, туманились глаза в возмущении, иногда становилась на колени, молила и плакала,—но всегда была нежною, тою, от которой ничего не надо.

— Что, милый?..

— Устал. Ведь она, Анна, не любит. Не уйдет, не обманет,—не любит. Знаю,—любишь...

Дома стены, холодно. Штейгер Бицка, румянный, весь день шутит, в дождь. Подожжет и стоит у шнурка. Три-

дцать лет—пять десятых жизни—половина—десять двадцатых. Холостой патрон. Нету ласки. Без личного невозможна.

Показалось—потухла лампа, на глаза легло теплое: ладони. Сначала слова были тихи, потом безумны.

— Уйди, уйди, милый. Иди ко мне, ко мне,—пусть не любишь,—я люблю, люблю...

Промолчал.

— Молчишь? Все отдам, все будет. Отдай мне ребенка. Ведь она—она мертвая. Ей ничего не надо. Слышишь?—От—дай... Все страданья возьму себе...

Опять вспыхнула лампа,—серенький человеческий комочек упал на узкую девичью кровать.

Мрак стал так, что не было видно в двух шагах. Около бараков горланили рабочие и пищика гармоника. Кто-то свистел во мраке в два пальца, озорно и нелепо гоготча. Фонари по-прежнему вырезывали белые круги. Шел, освещая дорогу карманным фонариком, машинально выбирая дорогу, и рядом во мраке, по лужам, спешила за ним Нина. Сосны шумели глухо, и было дико и страшно. Говорил, не думая, что говорит, думал вслух:

— Тебя, Нина, не люблю. Мне от тебя ничего не надо. Анна. Анне—приказал отец. Старая кровь. Анна сказала—никогда не полюбит. Ася растет у нее—люблю ее, дочку мою,—смотрит на меня пустыми глазами, чужая—тоже чужая—моя дочь. Я украл ее мать,—украл ее от небытия. Приду домой и лягу один. Или пойду к Анне, и она примет меня с сжатыми губами. От тебя дочери—не хочу. Зачем?.. Завтра то же, что и вчера.

Уже на инженерском поселке, около дома, вспомнил о Нине, зазабочился:

— Простудитесь, голубушка, и страшно возвращаться...

Постоял против нее, помолчал, протянул руку.

— Ну, всего хорошего.

Прошла мимо ватага парней, кто-то осветил фонарем.

— Ай-да училка. С инженериками. Го-го-го...—загоготали, запели враз похабную частушку:

Подавали девки в суд
Земскому начальнику... Э!!

III.

Пред сном раскладывал пасьянс, ел холодный ужин, у Анны был свет, долго стоял у ее двери, постучал.—„Войдите“.—Зашел на минутку: сидела у столика, с книгой, книгу положила на раскрытую тетрадь-дневник. Когда, когда он узнает, что там?

— Завтра с ранним уезжаю в Москву в командировку. Вот, пожалуйста, возьми денег на хозяйство.

— Спасибо. Когда приедешь?

— Через неделю,—стало быть в пятницу, на той неделе. Ничего не надо?

— Нет. Спасибо,—встала, подошла, поцеловала щеку около губ.—Всего хорошего, прощай. Асию не беспокой. И опустилась к столу, спиной, взяла книгу.

На рассвете подали лошадь, ехал с Бицкой по шоссе на пассажирскую, было сырое; в дожде, мраке, черные, торопились ко второму гудку рабочие, обогнало на автомобиле начальство, и сейчас же заревел гудок. Бицка, в котелке, с редкими латышскими усиками, румянный, смотрел кругом строго.

— Не выспались, Роберт Эдуардович?

— Нет, не то. У меня плохая настроение,—помолчал.—Мне сорок лет, а мой шена—восемнадцать. Мне надо шена сериозная, песмолфная, хосяйка. Она фсе шутит и тянет мена са узы, и смеется. Прафда, не выспался. Тала мерку к новым патинки... Ерунта...—и улыбнулся узкими своими хитрыми глазками.—Шеншина!..

ВОЛЧИЙ ОВРАГ.

I.

Агренев в детстве, ребенком, слышал из разговора матери о том, что вот Нина Каллистратовна Замоткина с дочерью ходила сегодня утром в девять часов—к фельдшерице Часовниковой на квартиру давать пощечину Часовниковой, которая разбила семейный очаг, потому что у ней была связь с Павлом Александровичем Замоткиным, мужем Нины Каллистратовны. Тогда Агреневу-ребенку ярко представилось, как Нина Каллистратовна за руку с дочерью и с ридикюльчиком в другой руке—идет; походка, конечно, необыкновенна, раз идут на квартиру давать пощечину,—надо было, должно быть, ити в присядку или раскорякой, что ли, семейным же очагом было нечего, вроде маньчжурки, обязательно железнное, раз идут за него давать пощечину; и чрезвычайно любопытно, как Нина Каллистратовна придет на квартиру, размахнется рукой и—даст; и походка, и квартира, и руки,—все имело для ребенка сокровенный смысл, чрезвычайно любопытный.

Это осталось в воспоминаниях от детства, от маленького городка, провинции, где все было необыкновенно, как детство. Здесь, в Волчьем овраге, вспомнил это Аг-

ренев—и затосковал. Никто, никогда не пойдет давать за него пощечину. Какое варварство—пощечины, и нет никакого решения—в пощечинах. Была осень, и, когда стоял в овраге и ждал Ольгу, низко над головой пролетели журавли, выстраиваясь в стрелку и курлыкая нестройно. Потом с горизонта на востоке небо стало наливаться свинцом, небо стало зимним, и над головой вспыхнула голубая Вега. Ольга пришла неожиданно, опоздав, сразу—вся с головы до ног—став на обрыве оврага, чтобы опуститься к Агреневу в овраг—в овраг.

II.

Александр Александрович Агренев, семейный человек, инженер-металлург, и Ольга Андреевна Головкина, учительница—девушка, живущая с тетей, окончившая восемь классов гимназии. Ее все звали Оля Головкина, и это было неправильно, потому что она носила древнюю русскую фамилию, славную еще Петром Первым и сенатором Головкиным. Но тогда еще, при Петре Первом, эта фамилия соскочила в низы, чтобы оставить в этом городе Головкинскую улицу и дом на Головкинской, сдачей в наймы которого жила тетя. Агренев знал, что тетя—имени ее Агренев не знал—старая дева, имела одну радость, Олю, что тетя вечерами сидела у окна без лампы, поджиная Олю, и Оля, поэтому, возвращаясь со свиданий, обходила квартал, чтоб заместить следы. О тете никогда не говорилось прямо, лишь вскользь упоминалось слово, как вещь,—тетя. Оля же была милой девушкой, о которой трудно говорить, очень похожей на иловую лозинку, такую хорошую провинциалочку. Город разметался по холмикам среди полей и древних каменоломен, всей энергией своей город истекал в завод на том конце,—и слу-

чайный разговор, бывший весной в начале знакомства между Агреневым и Олей,—был в стиле и города, и Оли. Агренев сказал к чему-то:

— Бальмонт, Блок, Брюсов, Сологуб...

Оля перебила его поспешно, милая лозинка:

— Я вообще иностранных писателей мало знаю...

В городе, ни в гимназии, ни в библиотеке, ни в журналах, не знали ни о Бальмонте, ни о Блоке,—но Оля любила декламировать на память Козлова и говорила по-французски. Завод жил темной, нехорошой, трескотной жизнью, нищенки—рваной снизу и непривычно-роскошной сверху,—и завод пугал городок с его Головкинскими, Загорными, Спасскими улицами, городок жил среди полей, придавленный заводом и все же живущий своею какою-то жизнью.

За городом, в противоположной стороне от завода, в мраке лежал овраг, который назывался Волчьим оврагом. Правее, к реке, была роща, куда ходили гулять парами. В овраг никто не ходил, потому что он был совсем не поэтичен, без деревьев, скучен, не глубок и не страшен. Но он шел по холму, господствовал над окрестностью и, если лежать в канавке у его верха, видно все кругом на версту, а лежащие—сокрыты: Александр Александрович Агренев был семейным человеком. А мальчишки-пастухи, которые пасли на лугу стадо, заприметили, как каждый вечер летом с большака на велосипеде сворачивал в овраг мужчина, а потом, мимо них, проходила тоже в овраг девушка, спешащая, как гонимая ветром лозинка: мальчишки, как подобает мальчишкам, кричали вслед девушке всякую мерзость.

Оля все лето просила Агренева привезти ей книг, почитать,—как она не заметила, что за все лето ни разу книг не привозил он ей.

III.

Потом был вечер, уже в сентябре, после того, как несколько дней шли дожди, и они не встречались,—когда случилось все, что должно было случиться, что бывает у каждой девушки раз в жизни. Они встречались всегда в восемь, и восемь в июне идут совсем не так, как в сентябре. Дожди прошли, но остался холодный, осенний, опустошающий ветер, и вечер грузился свинцовыми тучами, холодом, неуютом. В тот вечер летели на юг журавли, курлыкая в небе. Трава в овраге пожелтела и похуяла. Днем было солнце, и Оля пришла в белом платье. Пастухи, карауля стадо, кричали всякую мерзость. Обыкновенно они, Агренев и Оля, расставались здесь же в овраге. В тот вечер, поистине черный, Агренев провожал Олю до дома, и оба они были заняты только одной мыслью:—о тете,—что тетя сидит у окна без лампы и ждет Олю, или она зажгла уже лампу и готовит ужин?—Оле надо было во что бы то ни стало, чтоб тетя сидела у окна без лампы, чтобы можно было в темноте пройти в свою комнату, так как Оле надо было секретно от тети переодеться. Они, Оля и Агренев, шли даже не под руку, а тесно—рядом, склонив друг к другу головы и шепчась—только о тете. Оля не могла думать ни о боли, ни о радости, ни о страдании,—она думала о том лишь, как пройти, чтоб не заметила тетя. А Агреневу было скучно, жутко и тоскливо от мысли о скандале.—И у тети в окне был свет, и Оля Головкина затрепетала, как лозинка, от света в окне, прошептав хрипло, как крикнув:

— Я не пойду!..

Но все же она пошла домой, лозинка, гонимая ветром. Агренев условился с ней встретить ее на утро в завод-

ской конторе, чтобы узнать,—в сущности, о тете, как тете, минул или нет скандал.

В овраге, когда Оля, отдавшая все, плакала и прижималась к его коленам, в черной ночи совсем над головой, даже слышен был шелест крыльев, пролетели на юг дикие гуси, гогота, встревоженные его папиросой, десятой подряд,—и защемило: „на юг, гуси, на юг!.. ты же никуда не уйдешь, раб, ненужный с ненужными“, и вспомнилась та пощечина, которую ходила давать за мужа Нина Калистратовна и которую никто не даст за него—Оле Головкиной. „Оля ненужное, случайное бремя!“ Тогда в тот вечер от Головкинской улицы через весь город и потом по заводу, на инженерский поселок, проезжая на велосипеде кратчайшим путем, ибо за ночным мраком не надо было прятаться, Агренев думал не об Ольге, а о тете: о том, что она, старая дева, что у нее одно—Оля, и Оля скроет от нее свою трагедию, что она, тетя, целыми вечерами—целыми вечерами сидит у окна, одна, без лампы,—конечно, не для Оли, а потому, что всю жизнь она умирает, как умирает город, где знают Козлова, как умирает он, Агренев, как умерла девушка—Оля. Как сильна жизнь! Какая трагедия в этих вечерах без огня, у окна!

IV.

Дома у Агренева горничная каждое утро приносила ему в кабинет на подносе уже остывший кофе. Агренев уходил на завод, когда все еще спали. На заводе были драные рабочие, всячески—нищие до последней степени, остроты Бицки, лязг вагонеток,—на заводе был: завод, именем своим определяющий все. В обеденный перерыв Агренев приходил домой, мылся и слышал, как за стенной жена—белая Анна—гримит ложками. И это—вся

жизнь. Чрезвычайно любопытно, как Нина Калистратовна придет на квартиру, размахнется рукой (какой рукой,—той, в которой ридикюльчик, или предварительно переложит ридикюль в другую руку?) и даст пощечину фельдшерице Часовниковой. Оля—милая Оля Головкина, от которой, как от всех, ничего не надо!

В тот вечер тогда пришла дочь, Ася, сделала кникセン и сказала:

— Покойной ночи, папò.

Агренев задержал ее, посадил на колени,—любимую, единственную.

— Что же ты делала, Асињка?

— А когда ты уезжал в поле к Головкиной, мы с мамой играли в бегающую игру.

V.

Утром в контору—якобы по делу—Оля пришла такая же, как всегда. И Оля радостно сказала:

— Тетя ничего не узнала. Она мне отперла без лампы и замешкалась в коридоре, и я проскочила мимо нее поскорее. Потом переоделась и вышла к ужину, как ни в чем не бывало!

Гонимая ветром лозинка!

В конторе звонили телефоны, было утро, щелкали на счетах. В кабинете они были вдвоем, уговаривались, как встретиться вновь. Оля не хотела идти в овраг, потому что мальчишки говорят гадости. Агренев не сказал ей, что дома у него все известно. Прощаясь, она прижалась к нему, как лозинка в ветре, и прошептала:

— А я сегодня не спала всю ночь. Ты заметил, я никак не называю тебя—у меня нет для тебя имени.

И просила, чтобы он захватил—не забыл!—книг.

Город лежал на пересечении таких-то широты и долготы. О городе ничего не знали. О заводе же печаталось каждый год в промышленных ежегодниках и изредка в газетах, когда бастовали рабочие или заваливало рабочих известняком. Завод был акционерной компанией, Агренев писал отчеты по своему отделу, отчеты тоже печатались, чтобы их никто не читал, и там стояло: „Инженер А. А. Агренев“. Оля же Головкина писала только ведомости и дневник, в ведомостях по своему отделению в начальной школе, против фамилий учеников она ставила баллы.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВЕСНЫ.

Утром мама встала такой же, как всегда за эти бесконечно долгие месяцы: я привыкла звать мамой—мать Александра. На ней черное платье и в руках белый большой платок, который она так часто подносит к губам.

В столовой было светло. На столе чинно стоял чайный сервиз, и из самовара шел пар. Я уже привыкла, что столовая все время напоминает, будто мы уезжаем на дачу. Это происходит от того, что сняты все картины, завешано висевшее здесь случайно зеркало.

Я обыкновенно встаю очень рано, моюсь и сейчас же берусь за газеты. Я раньше почти никогда не думала о газетах, и они для меня были совсем безразличны, но теперь я не представляю без них жизни. К чаю я уже знакома со всем, что делается в мире, и рассказываю маме: мама не может читать газет.

Мама выходит из своей комнаты, бывшей Александра, высокая, вся в черном, и в ней какая-то строгость. Это все так, как должно быть. Она крестит меня, целует в лоб и губы и, как всегда, отворачивается быстро и подносит платок к губам. Я знаю, она вспоминает, что Юрий убит, а Александр — там... и что я одна, ее, осталась с ней.

За чаем мы всегда молчим, мы вообще молчим, и только один вопрос она задает:

— Что в газетах? — и эту фразу она говорит всегда хриплым голосом. И я, очень волнуясь и бестолково, рассказываю ей все.

После чаю до двенадцати я хожу около окон, вижу все прежний завод и поджидаю почтальона.

И так, за почтой, газетами, горем матери и моим, проходят дни за днями. И всегда, когда я жду писем, я вспоминаю маленький эпизод войны, переданный мне на эвакуационном пункте раненым прaporщиком. Он был легко ранен в голову, но я уверена, что он был психически ненормален или неврастеник. Он лежал на носилках, смуглый, с черными глазами и с белой повязкой. Я его поила, но он не пил чай, отставляя кружку и держа меня за руку, говорил:

— Вы знаете, что такое — война? — Не смеете, не можете знать?.. А я знаю. Все знают, кто там были!.. Шли мы в штыки, понимаете? — в штыки, т.-е. резать, колоть, кромсать друг друга, человеков. В нас пулеметом стреляли. Ну, вот, шел рядом со мной рядовой Кузьмин, и в него сразу две пули попали. Он упал и, уже ничего не соображая, забыв, что я их офицер, как-никак, протянул ко мне руки и закричал: „Земляче-ек, — приколи!“. Понимаете?! — „Земляче-ек, приколи!“ — И вам не понять — не смеете!

Он говорил это, то шепотом, то крича.

Он говорил, что этого нельзя понять мне. Но я понимаю... „Земляче-ек, приколи!“ — в этой фразе для меня слит весь ужас войны, и смерть Юрия, и рана Александра, и горе матери, и все, все, что дала война, — слит до боли в висках, до физического ощущения тоски. — „Земляче-ек, приколи!“, — как просто, не человечески.

Я эту фразу вспоминаю каждый день, особенно часто в зале, когда жду писем. Александр пишет редко и сухо,

о том, что здоров, и опасностей или нет, или они миновали; он пишет всем сразу — маме, мне и Асе.

Так было и сегодня, я ждала писем.

Пришел почтальон, принес несколько писем, и один из них — от Александра. Я его вскрыла не первым, подождав маму.

Вот оно:

„Родная Анна!

Вчера и сегодня — прорвало — тоскую и думаю о тебе, только о тебе. Когда живешь покойно без передряг, тогда не замечаешь много хорошего, — это я говорю о тех цветах, что посыпаю тебе. Они растут как раз у окопа, а достать их страшно трудно, потому что можно быть убитым. Так я цветы эти и раньше видел, но как называются они, не знаю и очень обидно.

Прощай. Люблю тебя. Прости за „армейский“ стиль. Это письмо только тебе“.

В письме были две фиалки, две маленьких голубых фиалки, которые растут сейчас же после снега.

Я дала — все же дала — прочесть это письмо маме — его матери, — и у мамы задрожали губы и потекли слезы. Она заплакала, но и в слезах смеялась. И мы обе, я — молодая и мама — старая, мы обе плакали и смеялись одновременно, тесно прижавшись друг к другу. Я раньше представляла войну фразой — „Землячек, приколи!“. А теперь у меня оттуда — от Александра — фиалки, две фиалки, которые еще не завяли.

Я замечала раньше, что весна, лето, осень, зима в человеческом сознании приходят как-то сразу. Помню в детстве, на даче. Все еще лето, все как всегда, но вдруг утром подул самый обыкновенный ветер, бросились в глаза красные листья виноградника, которые уже появились недели три, — и вдруг сразу чувствуешь, что осень, сразу

меняется настроение и начинаешь собираться домой, в город.

Сколько лет я не видела ни осени, ни зимы, ни весны, — не чувствовала их?

А сегодня я сразу — после давно-давно ушедшего лета почувствовала весну.

Я только сегодня заметила, что окна у нас замазаны, что на мне черное платье, что уже май, что уже в полях цветут колокольчики. Я забыла, что я молодая: сегодня я помню это.

И еще я знаю, что верю, люблю — давно люблю — Шурика, Александра. И я знаю — пусть много ужаса, много нелепого и безобразного, но есть еще прекрасная молодость, и любовь, и весна, и голубые фиалки, растущие на окопах.

Мы с мамой плакали и смеялись, вдвоем, тесно скавшись на диване. Потом я одна ушла в поле за завод — любить, думать, мечтать... Я люблю Александра — на всю жизнь, навсегда...

МОРЯ И ГОРЫ.

I.

Окопы — совсем не там в Литве, в Полесье: в дождливую ночь на Виндаво-Рыбинском, в поезде, как окоп, — окопы в самой Москве. Рядом в соседнем купе говорят:

— А вы какой части? — „Да-да, как же! помните, там еще овраг, весь в валунах, и озеро внизу, много в этом озере народу уплыло в царствие небесное“.— „Командир третьей дивизии, позвольте представиться“.

— Братушка, дай закурить, пожалуйста. Из побывки мы.

Поезду итти в ночь на Ржев, на Великие Луки, на Полоцк. Вон, братва забилась под скамью, пьет чай, очень довольна. За окном газовые фонари, в дожде — Виндаво-Рыбинского, и глаза у женщин под дождем под окнами, — как фонари в дожде. Пахнет нафталином. — „Где вагон коменданта?“ — Женщинам в вагон — нельзя, — тут на войне — одни мужчины, и пахнет уже кожей, дегтем и портянками, мужской запах.

— Да-да, да-да, хо-хи! Врет, вре-от. Нет-с, красавица, такого человека, который шел бы в атаку не сумасшедшим! — хохотает и говорит басом, очень довольно.

Третий звонок — „Где вагон коменданта?“ — „Что же, прощай!“ — „Хо-хо-хо-хо! Вре-от, вре-еот-с, суда-

рыня". — „Мозоль я себе натер, буцы новые выдали, вот и натер обратно", — это из-под лавки и на лесенке, по которой взбираются на верхнюю полку, повесили новые портнянки, со свежими казенными ярлыками и все же пропахнувшие уже потом. Сдвинулись лакфиолевые фонари по дебаркадеру в ночь, сползли женщины и носильщики, козырнул дежурный, дождь стал косым, в смене стрелок ночь стала такой.

Ночью в дожде во Ржеве через окно лазили за чаем, в окно налезли отставшие с винтовками, поезд гремел манерками. Дождь хлещет, как веник в бане. В коридоре братва недовольна поверкой документов. Под лавкой беседуют, военные пустяки.

А утро — в розовых облаках, — с деревьев капают капли, дождь прошел, светло, благоуханно. Великие Луки, Ловать, на станции кофе и солдаты, нет женщин. Поезд обходит контр-разведка. Солдаты, солдаты, солдаты, — винтовки, винтовки, — манерки: братва. И это уже не Великороссия, кругом еловые леса, холмы, озера и всюду на земле навалены круглые точёные камни, валуны, — а на станциях из-под елей выползают молчаливые люди, летом в овчинных тулуках и шапках, и босиком: литва. Контр-разведка — как развлечение, длинный-длинный, пустой день, как праздник, и все уже знаемо: какой части, сколько ранен, в каких боях. В Великих Луках многие сошли, — нет новых. Весь день тихо и празднично.

А к ночи — Полоцк, белые стены монастыря ушли назад, Двина, прогремели по мосту. Здесь ездят уже только ночью, без расписания, без огней, и опять мелкий дождичек. Без свистков останавливается поезд, без свистков идет, и кругом тихо, как в октябре, — над землей же — ночь. С Полоцка на каждой остановке только слезают, никто не садится вновь, от каждой остановки по декавильке до окопов тридцать верст. Такая усталость —

после Москвы, слов, проводов, после бесконечного дня! Едва светает, небо как бутыль из зеленого стекла, там сзади, на востоке.

— Вставайте, приехали.

Станция Будслав, крыша у станции съедена бомбой с аэроплана. На асфальте перрона, под кротегусами, в садике спят вповалку солдаты, книжная лавка к приезду поезда открыта, стоит заспанный еврей: Чирков, фон-Визин, Вербицкая. И где-то в отдаленности, почему-то так четко слышно, как хлопают руками в рукавицах. — „Что такое?" — „Это долбит тяжелая артиллерия". — „Где комендант, где тут комендант?" — „Спит комендант"...

II.

Неделя проходит в окопах, идет другая.

Надо было бы записать все в первый день: теперь все сгладилось, вот это, что там на луговине на проволоке висит человек и у него постепенно отваливается голова. Впрочем, я мало вижу. Днем мы спим. Почти нет ночей — июнь, о вечере я узнаю вот почему. Я живу в землянке, и когда приходит семь часов, минута в минуту, — оттуда из-за болота начинают обстреливать землянку: через каждую минуту шлют пулю — чик. Еще минута и опять — чик. Выстрелы не слышно за гулом остальных выстрелов, слышно, как пуля втирается в землю и бревна на крыше. И это всю ночь, до семи часов утра, минута в минуту. В землянке нас трое, они двое играют в шахматы, я все перечитал, мне надоело и лежать, и ходить, и спать. Жизнь человека чрезвычайно скучна, потому что в три дня — троим — можно все рассказать. Вчера прибежал солдат, ему в разведке оторвало кисть, он мотал огрызком руки и молил бестолково:

— Приколи, приколи-и, касатик!..

Иногда ночью мы выходим полюбоваться фейерверками. В землянку — это стреляют в нас, или чтоб нас червирить, — втираются пули: чик! чик! — чик! Мы стоим и любуемся. Вдалеке тякают орудия, и вот весь горизонт дрожит зеленым светом. Ракеты поднимаются непрерывно. Здесь были такие, какие пускали мы на Оке, были разрывающиеся на два медленные шара, были огромные диски, состоящие из сотни огней. Но ракеты исчезают, из-за леса ползут три световых пальца. Сначала они протянулись в небо, судорожно сжались и падают лихорадочно на нас, на окопы, вправо, влево. Наши гимнастерки в их свете кажутся белыми. В Полесьи на могилах ставят огромные деревянные кресты, большие, как у Гоголя в „Страшной мести“: сзади на холме стоят два креста, один скренился, повис на другом.

Все солдаты, солдаты, солдаты. Ни одного старика, ни одной женщины, ни одного ребенка. Ни одной женщины я не вижу уже третью неделю. Вот о чем я хочу рассказать — о том, что значит — женщина.

На пункте, вне зоны обстрела, мы обедали, — и за фанерной стеной засмеялась сестра: я никогда не слышал лучшей музыки. Других слов я не нахожу: лучшей музыки. Это сестра пробиралась к госпиталю, ее платье, ее прическа — какая радость! Она что-то говорила заведующему пунктом — я не знаю лучшей поэзии, чем ее слова. Все прекрасное, все красивое, все целомудренное, что есть во мне, что дала жизнь — женщина, женщина. Вот и все.

Вечером я пошел в штабный кинематограф, я сидел в ложе. Когда потушили электричество, я написал на барьере синим карандашем:

„Я — блондинка, 22-х лет, с голубыми глазами. Но — кто же ты? Я жду?“

Я сделал жестокую вещь.

Это я написал, но у меня защемило сердце, я не мог сидеть в кинематографе. Я стал бродить меж скамеек, ушел на поселок, ходил вокруг костела, у которого не уцелело ни одного окна, и собрал букетик незабудок в канавке у кладбища. Когда я вернулся в кинематограф, я увидел, что в набитом кинематографе ложа была пуста: при мне вошел офицер, сел беззаботно, чтобы наслаждаться, прочел написанное мною — и стал другим человеком, я влил в него страшный яд, и он ушел из ложи. Я вышел за ним — он пошел к костелу. Я сделал жестокую вещь.

Это я написал о блондинке с голубыми глазами, — я шел и видел ее, и ждал ее, я, написавший. Во мне играли сотни оркестров, но сердце было сщемлено, точно его взяли в руки. Больше всего — больше всего во всем мире — я любил и ждал несуществующую блондинку, которой я отдал бы все мое прекрасное.

Я не остался в кинематографе и поплелся в окопы. На холме стояли два громадных креста, я сел под ними и шептал, сжимая руки:

— Милая, милая, милая. Любимая, нежная. Я жду.

Там, вдалеке, взлетали зеленые ракеты, такие же какие мы пускали над Окой. Потом забегали пальцы прожектора, моя гимнастерка стала белой, — и сейчас же около крестов упал снаряд: это заметили меня и стреляли по мне.

В землянку чикали пули: чик! — чик! — чик! Я лег на нары, зарылся головой в подушку. Мне было очень одиночно и я шептал, вкладывая в слова всю нежность, какую имел:

— Милая, милая, милая...

Любовь.

Верить ли романтике, — что вот, через моря и горы и годы есть такая, необыкновенная, одна любовь, — все-побеждающая, всепокоряющая, всеобновляющая — любовь.

В штабном поезде, что стоял у Будслава и где жили штабные офицеры, знали, что такая любовь у поручика Агренева одна, на всю жизнь. Жене, женщине, девушке, любящей один раз, когда любовь — прекраснейшее и одно в жизни, — принять героические меры, пройти все штабы, все контр-разведки, чтобы пробраться к любимому, чтобы увидеть любимого, ибо — одно сердце, огромное, в мире и больше ничего.

Купе поручика Агренева было в дальнем вагоне № 30-05.

Штабный поезд стоял за прикрытием. Огня зажигать не позволялось. По вечерам, занавешивая окна одеялами, собирались в вагоне командующего ХХ корпусом играть в железку и пить коньяк. Кто-то сострил, что между фронтом и мужским монастырем много сходства, и тут и там говорят только о женщинах, поэтому нет причин не посыпать монахов на фронт для поста и молитвы.

Банк купил и держал ротмистр Кремнев. Вошел проводник пан Понятский и позвал ротмистра. Остальные остались за картами. Пан сказал ротмистру, что есть женщина, очень дорого. У ротмистра задрожали колени, он сел беспомощно на подножку и достал папиросу. Пан Понятский предостерег: нельзя зажигать огня. Пушки вдалеке гудели, точно приближалась ночная гроза. Ротмистр Кремнев никогда не испытывал большей радости, чем в эти минуты, когда сидел на подножке, — физической радости бытия, физиологической. Пан Понятский повторил, что это очень дорого, что она — ждет, медлить нельзя. Пан Понятский вел его вагонными коридорами, во мраке. В вагонах пахло мужчинами и кожей, за дверками громко смеялись, должно быть за картами. Так прошли пол-поезда. Когда переходили из вагона в вагон, вдалеке

вспыхнула ракета, и в зеленой мутни блеснул желтый номер вагона 30-05. Пан Понятский отпер своим ключом дверь купе и сказал:

— Здесь. Только, пожалуйста, тише.

Пан же замкнул ключ за ротмистром Кремневым. Это было офицерское купе, пахло духами, на скамейке, внизу, кто-то дышал. Ротмистр Кремнев скинул тужурку и сел рядом. На диване спала женщина. У ротмистра закружилась, онемела голова, сердце и купе покатилось, — ротмистр взял онемевшей рукой колено женщины. И тогда женщина потянулась, просыпаясь.

— Это ты, родной? — спросила женщина. — Вернулся?

— Да — я, — ответил ротмистр.

И вдруг женщина вдвинулась в угол дивана, беспомощно, раздетая, протянула вперед руки, обороняясь.

— Кто тут? Уйдите! Уйдите, ради бога!

— Что-о? Не ломай дурака!

Дверь приотворилась, в дверь втиснулась голова пана Понятского, прошептала:

— Не стесняйтесь, ваше - ст - во, она так... Только потише,— и исчезла.

Больше не было слов, потому что в ротмистре, как во всех, сидел еще тот человек, который выходил у станций из лесов, в овчине и босиком и который — „любил“ женщину, глуша ее дубиной. Тогда, в купе, женщина бессильно сопротивлялась, и потому, что сопротивлялась, ему хотелось придушить ее, вдавить в подушки, еще больше насиливать, пока не постучал пан. Уходя, ротмистр засунул в чулок женщины две двадцатипятирублевки.

Любовь! Любовь через моря и горы, и годы.

У пана был ключ, одинаковый для всех купе. Проводники проследили, что к поручику Агреневу прорвалась

женщина. Поручик на сутки был откомандирован в дивизию. Кто в темноте разберет, какой проводник отпер дверь и какой офицер насиловал? Да и посмеет ли кричать женщина, раз она там, где нельзя ей быть, откуда ее просто выгонят, — и скажет — и скажет ли она об этом мужу — или любовнику? — разве знал Понятский о любви через моря и горы? — скажет ли она об этом мужу, другому мужчине?! — рассчитает, поди, обдумает вымается, — и никогда, никому не расскажет... женщина... Почему не содрать лишнюю полосотни пану Понятскому?

IV.

Третьего дня, вчера, сегодня, — бой, отступление. Штаб армии уехал в поезде, но штабные офицеры идут пешком. В каше человеческих тел, повозок, лошадей, пушек, ординарцев, извещений, приказов — ничего не разберешь. Пулеметного и винтовочного огня не слышно. Хлещет дождь. К вечеру кто-то сказал — проорал, что остановили. Застряли в лесной сторожке. Ротмистр Кремнев в погребе нашел молоко и творог, — он, Агренев с женой, командующий дивизии, фендрики — пьют молоко. Братва разыскала в лесу корову, зарезала, жарит, и ест, притащили каких-то двух местных девок, их насилиуют в очередь, они очень покойны. Все говорили, что надо лечь отдохнуть, — и не заметили, как пришел рассвет, — заметили же потому, что через сторожку загудели снаряды, завопила поблизости русская батарея. Дали приказ ити в контр-атаку. Потащились обратно, в дожде, не известно почему — Агренев, Кремнев, три женщины, братва.

ВЕЩИ

Над рекой, тихой и серебряной, стоял каменный город, кремль, соборы, каменные дома, улицы, замощенные огромными булыжинами. В закоулке, замыкая туник, стоит дом, одноэтажный, белый, с охровыми двумя колоннами, с конями на бельведере; за домом сад — выродившийся в дичь, весь в черемухе и сирени. Дом внутри мал; по фасаду идут три комнаты, потолки в комнатах низки, стены толсты, полы в ковриках, у окон цветы. В средней комнате, где дверь ведет под колонны, стоит рояль.

Тридцать лет тому назад приехала сюда девушка, молодая, беззаботная и радостная беспрчинно. Тридцать лет прошло. Булыжны перед домом, тогда только что выложенные, проросли травою, из винокуренного завода слева перестроили казармы, и там утром и вечером играли прозрачную зорю. По соседней улице прошел трамвай. Город расползся по горе, заполз за реку. У реки, у железнодорожного моста, зафыркала вальцовая мельница. Тридцать лет прошло, и старой женщине, с седыми буялями, в черном платье, надо было уезжать,—уже навсегда.

Была весна, цвела сирень, отцветала черемуха, на откосе, в канавках, зацветали ландыши. Она хотела вспомнить прошлое. В доме не выставляли рам, было по-зимнему; к пасхе не убирались—откладывался отъезд со дня на день,—и на окнах лежала пыль. Вспоминала о том, что двадцати восьми лет начала изучать английский язык,

а тридцати двух—музыку, тогда же купила рояль. Не со-
зывала ясно,—делала это затем, чтобы заполнить жизнь,
чтобы, встав утром, знать свой день. Не изучила языка,
не пошла в музыке дальше сонатинок „Черни“. Три-
дцать лет тому назад, когда были подружки и милые се-
креты, и старая тетя вывозила на балы,—тогда не-
сколько дней она была невестой, и тетка купила пружинную
двуспальную кровать (только что входившую в
моду), мраморный умывальник и будильник, играющий
„Веверлея“.

Ехать надо было через всю Россию, в такой же
старый дом, в таком же старом кремле, ехать, чтобы
бы там умереть. Мещанин, покупавший дом, в засален-
ном сюртуке, в лаковых сапогах и с хлыстом в руке,
которым он тыкал в вещи и хлестал себя по лаковому
голенищу, покупая по ценам, которые были тридцать
лет назад, не скрутился, хлопал себя по голенищу и
говорил:

— Риант оставляете? Прекрасно... Запишем в общий
счетец. Подытожим.

И она оставляла все.

Но за день до отъезда, когда в гостиной, среди ком-
наты, уже стояли пузатые, проеденные мышами баулы и
валялся хлам,—в спальне, в пустом секретере, в нижнем
ящике, увидела три записки.

Одна была черновик неотосланного письма, она писала
сестре на Волгу:

„Будешь проѣзжать мимо Самары, покло-
нись городу, давшему миру М. Д... Живу скучно,
однообразно. Изучаю англійскій. Знаешь, се-
годня—24 іюня, Иванова ночь, когда цвѣтутъ
несбыточные цвѣты папоротника“.

Эта записка была написана двадцать три года тому
назад, семь лет спустя после того, как она была несколько
дней невестой, и М. Д.—тот—он.

На другой записке, на лоскутке, неизвестно, когда
исписанном, было:

„29 сентября, двадцать девятое, 29, 29...
М. Д., М. Д... Михаилъ, Михаилъ. Проба пера“.

29 сентября, тридцать лет назад, привезли умываль-
ник, кровать и будильник, и в тот же день тогда, вече-
ром, она перестала быть невестой...

Третья записка была счет из Москвы, от Юргенсона,
счет по покупке рояля.

Были сумерки, когда она читала эти записки, солнце
садилось, и красные лучи шли через сирень в комнату,
выкрашенную синей краской, и темную. Она стояла, тон-
кая, в черном платье, в седых буклях, с тремя пожелтев-
шими листками в тонких пальцах, сжатых золотом колец
и браслета. Затем она расстегнула свой ручной чемодан-
чик и спрятала тщательно эти записки, на дне, за баноч-
ками с косметикой, за связкой нотариальных бумаг, век-
селей и купчих, за золотом. Потом она пошла в сад;
цвела сирень, отцветала черемуха, зацветали ландыши,
поздно ночью запел соловей. Небо было прозрачным, си-
ним, легким, над городом стала тишина.

В дом она вернулась с воспаленными глазами, с плат-
ком у губ, сгорбленная, старенькая, прошла в спальню,
стала на колени перед умывальником и поцеловала свято
его мрамор, подошла к будильнику и прижала его к сердцу,
к дряблой, пустой груди; прошла в зал, упала на лакиро-
ванную крышку рояля, долго была неподвижна, потом
проиграла глупенькую немецкую пьеску „Unter den Linden“.
Рассвет был алым и ясным.

Утром, когда пришел мещанин прощаться, она отменила решение,—повезла, потащила за собой через всю Россию умывальник, кровать, будильник, играющий „Венерлея“, рояль и две английских книги, из которых одна была грамматикой.

В доме временно, до перепродажи, поселился мещанин, рубил дичь из сада для топки печей.

Пески,
Май 1918 г.

С М Е Р Т И

И Т П Д М С

и синий цветок лаванды. В море
запах струйного дыхания из морской влаги, а вдали
вспышка огня. Утреннее солнце вспыхнуло
из-за облаков, и вспышка света, плавно исчезнув, оставила
здесь яркую полосу. И вспышка солнца, и вспышка языка
огня — это и есть он. Ночь впереди обещает ясную
ночь, когда в небе звезды блеснут ярче.

Золотые дни „бабьего лета“, казалось, установились
надолго.

Солнце на синем, пустынном небе, где курлыкают
летящие на юг журавли, светит, но не греет, в тени за
домом лежит иней. Воздух — синь чрезмерно и крепок
своим бодрящим холодком, а тишина — черства. Колонны
террасы, обвитые виноградником, аллеи из кленов и земля
под ними сгорают в багрянце листопада. Озеро стоит
синим, зеркально гладким, в нем отражается белая при-
стань, с лодкой, лебедями и статуями. В садах фрукты
уже сняты, листья опали, здесь, в поредевших деревьях,
после лета, нелепо-пустынно.

В такие дни, от бодрящего холода, от крепкого воз-
духа, настроение становится бодрым, здоровым и ровным.
Спокойно думается о бывшем и будущем. Лень спешить
куда-либо. Хочется ходить по опавшим листьям, а в са-
дах — искать незамеченные, забытые яблоки и слушать
курлыкающих, летящих на юг журавлей.

Ипполиту Ипполитовичу — сто лет без года и трех ме-
сяцев с днями. В Московском университете он учился
вместе с Лермонтовым и дружил с ним, увлекаясь Байро-

ном. В шестидесятых годах, уже под пятьдесят, вместе с государем Александром, он обсуждал освободительные реформы, а дома зачитывался Писаревым.

Теперь только по огромному костяку, обтянутому пергаментной кожей, можно узнать, что когда-то был он велик очень, кряжист и широкоплеч, большое лицо все заросло длинными желтовато-белыми волосами, ползущими с носа, со скул, со лба, из ушей, но череп—лыс, глаза выцвели и белы, руки и ноги ссохлись и кажутся нарочито тонкими.

В его комнате пахнет воском и тем особым затхлым запахом, который имеется у каждой старой барской семьи. В большой комнате пусто: только массивный, красного дерева и с выцветшим зеленым сукном, письменный стол, заваленный стариинными ненужными безделушками, вольтерово кресло и диван. Лепной потолок, стены крашены под мрамор зеленовато-белой краской, в виде дракона камин, полы из паркета карельской бересны, стекла в окнах без гардин, закругленных вверху и с частым переплетом рам, выцвели, позеленели и по ним разбегается радуга. В окна идут холодные, бодрые лучи осеннего солнца, ложатся на стол, на часть дивана, на пол.

Старик уже давно не может спать ночами, чтобы бодрствовать днем. Уже лет двадцать прошло, как про него верно можно сказать, что он почти все двадцать четыре часа суток спит, точно так же, как верно будет и то, что эти же сутки он бодрствует,—он всегда дремлет, лежа с полузакрытymi своими выцветшими глазами на большом облупившемся диване, обтянутом свиной кожей английской выделки и постланной медвежьей шкурой. Закинув правую руку за голову, он лежит дни и ночи. И если, и ночью, и днем, окликнуть его:

— Ипполит Ипполитович!

он всегда через пол-минуты откликнется:

— Так?!

У него мыслей нет. Все, что есть кругом и было раньше в его жизни, ему безразлично, все изжито. Все изжито и думать ему не о чем. У него нет и ощущений, ибо все органы восприятия отпали.

Ночью шумят мыши. В пустынном колонном зале, что лежит рядом, бегают и гулко шлепаются, падая с кресел и столов, крысы.

Старик не слышит.

III.

Утром в семь часов, приходит Василиса, Васена, баба лет тридцати семи, крепкая, здоровая, румяная, напоминающая июльский день своей цветистостью и ярким здоровьем.

Она говорит покойно:

— Доброго утра вам, Ипполит Ипполитович.

И Ипполит Ипполитович отвечает голосом сплетой граммофонной пластинки баса:

— Так?!

Васена деловито моет его губкой, кормит манной кашией. Старик сидит на диване, сгорбившись, положив руки на колени. Ест медленно с ложечки. Молчат. Глаза старика смотрят куда-то внутрь, невидящие. В окно идет золотое, бодреющее солнце, блестит в белых волосах старика.

— Сынок ваш приехал, Илья Ипполитович, — говорит Васена.

— Так?!

Ипполит Ипполитович женился на четвертом десятке лет, из трех его сыновей в живых остался один — Илья. Старик вспоминает своего сына, восстанавливает его

образ и не чувствует ни радости, ни заботы—ничего. Где-то далеко затерялся длинный, расплывающийся образ сына, сначала ребенка, потом мальчика, юноши, а теперь уже почти-старика. Вспоминается, что когда-то, давно, этот образ был нужен и дорог, потом утерялся и теперь—безразличен.

И лишь по инерции старик переспрашивает:

— Приехал, говоришь?

— Да. Отдыхают теперь. Ночью приехали. Одни.

— Так!?. Меня приехал перед смертью посмотреть,— говорит старик.

Васена деловито откликается:

— Что же?! Ваши годочки не такие, чтобы...

И старик, и Васена спокойны.

Молчат.

Старик откидывается к спинке дивана и дремлет.

— Ипполит Ипполитович, вам надоить итти гулять.

— Так?!

Воздух „бабьего лета“ синь и крепок... Где-то далеко наверху кричат журавли. Старик в чесучовой фуражке, надвинутой глубоко на лоб, в черном длинном пальто, сгорбившись, опираясь на бамбуковую трость с изображениями змей и поддерживаемый здоровой Васеной, ходит по кровавым листьям виноградника около белой террасы, залитой холодным солнцем.

IV.

Иногда старик замирает на несколько часов. Из него уходит окончательно, так кажется, жизнь. Он лежит землисто-бледным, с помертвевшими губами, с глазами открытыми и стеклянными, почти не дыша. Тогда гонят лошадей за врачом, и врач впрыскивает камфору и делает

искусственное дыхание, дает дышать кислородом. Старик оживает, медленно, бессмысленно поводя глазами. Врач сосредоточенно и важно говорит:

— Если бы еще одна минута, была бы смерть.

Когда старик отходит окончательно, Васена ему повествует:

— Так уж боялись, так уж боялись... Совсем, думали, умерли уж... Да, ведь, и то,—годочки ваши не такие, чтобы...

Ипполит Ипполитович слушает безразлично и молча, и лишь иногда, вдруг, нелепо, сожмуриваясь, щуря глаза и растягивая губы, смеется.

— Хгы!-хгы!—смеется он и хитро добавляет:—умру, говоришь? хгы! - хгы!

V.

Илья Ипполитович, сын, ходит по пустынным комнатам умирающего дома. Пыльно и затухло здесь, через мутные стекла идет солнце, в нем золотятся пылинки. Илья заходит в комнату, где прошло его детство. На подоконниках, на креслах, столах, на полу—везде настлалась серая пыль. На полу видны свежие, редкие следы ботинок. На столе—нездешний—лежит тощий чемодан, со многими наклейками железных дорог. Твердая затаившаяся тишина застыла в доме. Сын так же громоздок, как и отец, но он ходит еще очень прямо. Волосы уже поредели, на висках седеют, а лицо—по молодому—брито. У губ уже серые морщинки. У него серые, большие и уставшие глаза.

У сына, Ильи Ипполитовича, сумрачно и тяжело на душе при мысли об отце потому, что дни его, отца, подсчитываются; и он тоскливо думает о нелепости смерти и о том, как держать себя с человеком, который обречен

окончательно. Но ходит он в то же время—от угла до угла—бодро очень.

Отец и сын встречаются у террасы.

— Здравствуй, отец,— говорит бодро сын, нарочито-беззаботно улыбаясь.

Отец, старик, сначала не узнает сына, смотрит безразлично, но потом улыбается, идет по ступенькам наверх и подставляет щеку для поцелуя, от щеки его пахнет воском.

— Так?!—говорит старик.

Сын целует его, крупно смеется, хлопая по плечу.

— Давно не видались, отец! как живешь?

Отец смотрит на сына из-под козырька фуражки, улыбается бессильно и не сразу говорит:

— Так?!

Васена отвечает за старика:

— Уж какое житье их, Илья Ипполитович?.. Что ни день, то все боимся,— говорит она речитативом.

Илья Ипполитович бросает укоризненный взгляд Васене и говорит громко:

— Пустяки, отец! Ты еще сто лет проживешь!.. Ты устал, отец! Присядем вот сюда, отец. Потолкуем!..

Они садятся на мраморную ступень террасы.

И молчат.

Сын краснеет, напрягает мучительно мысли и не находит, что сказать.

— А я все картины пишу... За границу собираюсь...— говорит он.

Старик не слушает, смотрит невидящие и бессмысленно, и вдруг спрашивает:

— Это ты приехал меня посмотреть?—умру скоро!..

Илья Ипполитович бледнеет пятнами и растерянно говорит:

— Что ты это, отец, как ты это!?

Но отец уже снова не слушает. Он откидывается к барьеру. Глаза его полузакрыты и стеклянны, лицо утешало всякое выражение.

Он дремлет.

VI.

Светит солнце, небо сине, в прозрачных далях над землею разлит хрусталь. Илья Ипполитович ходит по парку и думает об отце. У отца была большая, полная и богатая жизнь. Было так много хорошего, нужного и светлого. А теперь—смерть. И не останется ничего. Ничего! И это—ничего—Илье Ипполитовичу кажется ужасным. Ведь жизнь, свет, солнце, все, что есть кругом и внутри человека, человек познает через самого себя. Умрет человек—умрет для него мир. И он уже ничего, ничего не будет ни сознавать, ни чувствовать. Для чего же тогда жить, развиваться, работать, когда концом будет—ничто?.. Ведь в его, в отцовских, ста годах чуялась какая-то большая мудрость, и еще он был—отец.

Где-то, далеко в пустынной синеве, кричат журавли:

— Курлы, курлы-ы,—несется с пустынного неба от едва заметной черной стрелки, направленной к югу. Под ногами шуршат листья, красные и подернувшиеся инеем. Большое лицо Ильи Ипполитовича бледно. Устало и сильно сложены серые морщинки у губ.

Он, Илья, целую жизнь прожил одиноким и одним в холодной мастерской, тяжело живя, среди картин и для картин. Для чего?

VII.

Ипполит Ипполитович в большой и пустынной столовой, повязанный по-детски салфеткой, ест бульон и куриные котлеты: Васена кормит его с ложечки. Потом она

отводит его в кабинет. Старик ложится на диван, закидывает руку под голову, дремлет с полуоткрытыми своими глазами.

К нему приходит Илья Ипполитович. Он опять нарочито-бодр, но в глазах, уже усталых,—тоскование. А в его бритом лице, в сером английском костюме и желтых ботинках, чуется почему-то большая, измотанная, запутанная душа, сейчас страдающая и хотящая скрыться.

Он садится у ног отца.

Отец долго ищет его глазами, говорит, точно граммофонная пластинка спетого баса:

— Так?!

— Давно не видались мы, отец! Хочется поговорить мне с тобой! Ведь, как-никак отец, а дороже тебя нет, ведь, у меня никого, отец! Как живешь, отец?—говорит сын, бодро встряхивая седеющими кольцами волос.

Старик глядит невидящими глазами,—кажется, не слушает,—вскоре, жмурясь, хитро растягивая губы, открывая пустые свои челюсти, старик смеется и говорит:

— Хгы!-хгы!...—смеется он и бодро говорит:—Умру скоро! хгы!-хгы!

Но Илья уже не теряется так, как первый раз у террасы, и только быстро, очень тихо, почти шепотом, спрашивает:

— А разве не боишься?

— Нет! Хгы!-хгы!...

— В бога веришь?

— Нет! Хгы!

И отец, и сын—молчат долго.

Старик опять улыбается хитро, поднимается на локте и говорит:

— Вот,—когда человек спать хочет... дороже всего—сон... так и умереть—захочешь... понимаешь? Когда устанешь...

132

Старик смолкает на минуту и потом смеется хитро.

— Хгы!-хгы! Понимаешь?!—говорит он.

Илья смотрит на хитрое лицо отца, смотрит долго широко-раскрытыми глазами, не шевелясь, и в него все-ляется страх.

А старик уже дремлет.

VIII.

День ушел. Осенне-синие сумерки застилают землю и смотрят в окна. В комнатах—синий дымок и шарят тени. За стенами мороз. Зеленая поднимается луна.

Ипполит Ипполитович лежит на своем диване, заложив правую руку за голову, с полу-закрытыми глазами.

Он ни о чем не думает. И нет у него ощущений. То место, что он занимает, что занимает его тело, похоже на большой, темный, пустой ларь, в котором нет ничего. Где-то близко пробегает и шлепается крыса:—старик не слышит. Шалая осенняя муха садится около глаза:—старик не мигает. От иссохших пальцев ног, в иссохшие голени, в бедра, в живот, в грудь, к сердцу идет слабая, едва заметная, сладкая немота и замирает.

Уже вечер, в комнате уже черно, туман на фоне окон кажется густым и страшноватым. За окнами, где светит в хрустком морозце луна,—светлее, чем в комнате. Старик лежит, закинув руку за голову, с полузакрытыми, блестяющими-тусклыми глазами, лицо его, все заросшее белыми волосами и с лысым черепом, мертвенно.

Входит Васена, спокойная, крепкая, с широкими бедрами и ядреными грудями, свободно прикрытными красной кофтой.

— Ипполит Ипполитович, кушать надо,—говорит она деловито.

Но Ипполит Ипполитович не откликается, не говорит своего обыкновенного—„Так?!“...

Скачут, взмыливая лошадей, за врачом.

Врач щупает пульс,—подносит к губам зеркало. Вскоре сосредоточенно и важно говорит:

— Умер.

Васена у дверей, в красной своей кофте, немного похожая на зверя, спокойно откликается:

— Да как же, годочки его... Все помрем... Да уж что ему? Уж чего-чего не было в ихней жизни? Все было!— говорит она.

IX.

Ночью, перед утром, проходят низкие, пушистые облака. За ними идут тучи. Падает снег крупными, холодными, спокойными пушинками.—

„Бабье лето“ умерло, но народилась другая земная радость—первая, белая пороша, когда так весело бродить с ружьем по свежим звериным следам.

ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ

I.

Овраг был глубок и глух.

Его суглинковые и желтые скаты, поросшие красно-ствольными соснами, шли крутыми обрывами, а по самому дну протекал ключ. Над оврагом, направо и налево, стоял сосновый лес,—глухой, старый, затянутый мхами и заросший ольшаником. А наверху было тяжелое, серое, низко спустившееся небо.

Тут редко бывал человек.

Грозами, водою, временем корчевались деревья, падали тут же, застилая землю, гнили, и от них шел густой, сладковатый запах тлеющей сосны. Чертополохи, цикории, рябинки, полыни не срывались годами и колючей щетиной поросли землю. На дне оврага была медвежья берлога, в лесу было много волков.

На крутом, грязновато-желтом скате оборвалась сосна, перекинулась и повисла на много лет корнями кверху. Корни ее, походившие на застывшего осьминога, задравшиеся вверх, обросли уже кукушечным мхом и можжевельником.

И в этих корнях свили гнездо себе две большие, серые птицы, самка и самец.

Птицы были большими, тяжелыми, с серовато-желтыми и коричневыми перьями, густо растущими. Крылья их

были коротки, широки и сильны; лапы с большими когтями заросли черным пухом. На коротких, толстых шеях сидели большие, квадратные головы с клювами, хищно изогнутыми и желтыми, и с круглыми, суровыми, тяжело глядящими глазами.

Самка была меньше самца. Ее ноги казались тоньше и красивее, и была тяжелая какая-то и грубая грациозность в изгибах ее шеи. А самец был суров, угловат, и одно крыло его, левое, не складывалось, как следует: так отвисало оно с тех пор, когда он дрался с другими самцами за самку.

Гнездо располагалось между корней. Под ним с трех сторон падал отвес. Над ним стлалось небо и протягивалось несколько изломанных древесин корней. Кругом и внизу лежали кости, уже омытые дождями и белые. А само гнездо было уложено камнями и глиной и устлано пухом.

Самка всегда сидела в гнезде.

Самец же гомозился на лапе корня, над обрывом, одинокий, видящий своим тяжелым взглядом далеко кругом, и внизу, сидел, втянув в плечи голову и тяжело свесив крылья.

II.

Встретились они, эти две большие птицы, здесь же, недалеко от оврага.

Уже нарождалась весна, по откосам таял снег, а в лесу и лощинах он стал серым и рыхлым, тяжелым запахом курились сосны, на дне оврага проснулся ключ. Днем пригревало солнце. Сумерки были зеленоватыми, долгими и настороженно гулкими. Волки ходили стаями, и самцы грызлись за самок.

Они встретились на поляне в лесу в сумерки.

Эта весна, солнце, мягкий ветерок вложили в тело самца неведомую тяготу. Раньше он летал или сидел, ухал или молчал, летел быстро или медленно, потому что кругом и внутри него были причины: когда он чуял голод, он летел, чтобы найти зайца, убить его и съесть, когда сильно слепило солнце или резок был ветер, он скрывался от них, когда видел крадущегося волка, отлетал поспешно от него.

Теперь было не так.

Уже не ощущения голода и самосохранения заставляли его летать, сидеть, кричать или молчать. Что-то, вне его и его ощущений лежащее, владело им.

Когда наступали сумерки, он, как в тумане, не ведая зачем, снимался с своего места и летел от поляны к поляне, от откоса к откосу, бесшумно двигая большими своими крыльями и зорко взглядываясь в зеленую, насторожившуюся мглу.

И когда однажды он увидел на одной из полян себе подобных и самку среди них, он, не зная почему так должно быть, бросился туда, почувствовал чрезмерную силу в себе и великую ненависть к тем остальным самцам.

Он ходил около самки медленно, сильно оттаптывая, распустив крылья и задрав голову, и косо поглядывал на самцов. Один из них, тот, который до него был победителем, старался мешать ему, а потом бросился на него с приготовленным для удара клювом, и у них завязалась драка, долгая, молчаливая и жестокая, они налетали друг на друга, бились клювами, грудями, когтями, крыльями, глухо всклекотывая и разрывая друг другу тело.

Его противник оказался слабее и отстал, а он бросился снова к самке и ходил вокруг нее, немного прихрамывая и волоча по земле окровавленное свое левое крыло.

Сосны обстали поляну, земля была вся засыпана хвоей, синело ночное небо.

Самка была безразлична и к нему, и ко всем, она ходила спокойно по поляне, рыхлила землю, поймала мышь, съела ее покойно. На самцов она, казалось, не обращала внимания.

Так было всю ночь.

Но когда ночь стала бледнеть, а у востока легла зеленовато-лиловая черта восхода, она подошла к нему, победившему всех, прислонилась к его груди, потрогала нежно клювом его больное крыло, точно обнюхивая и исцеляя, и, медленно, отделяясь от земли, полетела к оврагу.

И он, тяжело двигая больным крылом, но не замечая этого, пьяно всклекотывая, полетел за нею.

Она опустилась как раз у корней той сосны, где потом стало их гнездо. Самец сел рядом. Нерешительным и точно смущенным был он.

Самка обошла несколько раз вокруг самца, обнюхала снова его. Потом, прижимая грудь к земле, расставив ноги и подняв хвост, сожмурив глаза,—замерла в этом положении. Самец бросился к ней, хватая клювом ее перья, хлопая по земле тяжелыми своими крыльями,—и в его жилах потекла такая прекрасная мука, такая крепкая радость, что он ослеп, ничего не чуял, кроме этой муки сладкой, тяжело ухал, нарождая в овраге глухое эхо и всколыхивая пред-утро.

Самка была покорной.

На востоке уже ложилась красная лента восхода, и снега в лощинах стали лиловыми.

III.

Зимою сосны стояли неподвижными, и стволы их бурели. Снег лежал глубокий, сметенный в большие горы, хмуро склонившиеся к оврагу, небо стало серо, дни

были коротки, и из них не уходили окончательно сумерки. А ночью от мороза трещали стволы и лопались ветки. Светила в безмолвии бледная луна и, казалось, что от нее мороз становится еще крепче.

Ночи были мучительны—морозом и этим фосфорическим светом луны. Птицы сидели, сбившись в гнезда, прижимаясь друг к другу, чтобы согреться, но все же мороз пробирался под перья, шарил по телу, захолаживал ноги, около клюва и спину. А блуждающий свет луны тревожил, напоминал, будто вся земля состоит из одного огромного волчьего глаза и поэтому светится так страшно.

И птицы не спали.

Они тяжело ворочались в гнезде, меняли места, и большие глаза их были кругло открыты, светясь в свою очередь зеленовато. Наверное, если бы они умели думать, они больше всего хотели бы утра.

Еще за час до рассвета, когда уходила луна и едва-едва подходил свет, птицы начинали уже чувствовать голод: во рту был неприятный, желчноватый привкус, и от времени до времени сильно сжимался зоб.

И когда утро уже окончательно серело, самец улетал за добычей, летел медленно, раскинув широко крылья и редко взмахивая ими, зорко взглядываясь в землю перед собою. Охотился он обыкновенно за зайцами. Иногда добычи не встречалось долго, он летал над оврагом, залетал очень далеко от гнезда, на десяток верст, вылетал из оврага к широкому, белому пространству, где летом была Кама. Когда зайцев не было, он бросался и на молодых лисиц, и на сорок, хотя мясо их и было невкусно. Лисицы защищались долго и упорно, сильно кусаясь, и на них нападать надо было осторожно и умело: надо было сразу ударить клювом в шею, около головы, и сейчас же, вцепившись когтями в спину, взлететь на воздух,—в воздухе лисица уже не сопротивлялась.

С добычей самец летел к себе в овраг, в гнездо, и здесь с самкой они съедали все сразу. Ели они один раз в день, и наедались так, что было тяжело двигаться и зоб тянуло вниз. Подъедали даже снег, замоченный кровью. А оставшиеся кости самка сбрасывала под обрыв.

Самец садился на лапу корня, ежился и ходил, чтобы было удобнее, и чувствовал, как тепло, после еды, бегает в нем кровь, переливается нечто в кишках, доставляя наслаждение.

Самка сидела в гнезде.

Перед вечером самец, неизвестно почему, ухал:

— У-гу-у! — кричал он горланным голосом, так, будто звук в горле его проходит через воду.

Иногда его, одиноко сидящего наверху, замечали волки, и какой-нибудь изголодавшийся волк начинал карабкаться по отвесу вверх.

Самка волновалась и испуганно всклекотывала, а самец спокойно глядел вниз своими широкими, подслеповатыми глазами, следил за волком, — как волк, медленно карабкаясь, срывался и стремительно летел вниз, сметая собой комья снега, кувыркаясь и повизгивая от боли.

Подползали сумерки.

IV.

В марте, когда вырастали дни, начинало греть солнце, бурел и таял снег, долго зеленели сумерки и ходили стаями волки, добычи было больше, потому что все лесные жители чуяли уже тревогу пред-весны, томящую и зачаровывающую, бродили полянами, откосами и лесом, не смея не бродить, безвольные в власти пред-весенней тьмы; и их легко было ловить.

Всю добычу самец приносил самке, сам он ел мало: только то, что оставляла ему самка, — обыкновенно это

были внутренности, мясо грудных мышц, шкура и голова, хотя у головы самка всегда съедала глаза, как самое вкусное.

Днем самец сидел на лапе корня.

Светило солнце. Слабый и мягкий шел ветерок. На дне оврага шумел сильно черный и поспешный теперь ключ, резко вычерченными белыми берегами снега.

Было голодно. Самец сидел с закрытыми глазами, втянув голову в шею. И в его наружности было много покорности, истомного ожидания и смешной какой-то виновности, так не вяжущейся с его суровостью.

В сумерки он оживлялся. В него входила тревога.

Он поднимался на ногах, вытягивал голову, широко раскрыв круглые свои глаза, раскидывал крылья и снова складывал их, бил ими воздух. Потом, снова сжимаясь в комок, втягивая голову, жмурясь, ухал:

— У-гу-гу-у! — кричал он жутко, пугая лесных жителей. И эхо в овраге отвечало.

— У-у...

Были зелено-синие сумерки. Небо вымазывалось крупными, будто новыми, звездами.

Шел маслянистый запах сосен. В овраге стихал на ночь, в морозе, ручей. Где-то на токах кричали птицы. Но все же было настороженно-тихо.

Когда темнело окончательно и ночь становилась синей, самец, крадучись, виновато, осторожно расставляя большие свои, не умеющие ходить по земле, ноги, шел в гнездо к самке. Его тянула к ней большая, прекрасная страсть.

Он садился рядом с самкой, гладил клювом ее перья; и все по-прежнему была в нем смешная немного и нелепая для него виновность.

Самка была доверчива к его ласкам, казалась слабой и мягкой очень; но за этой мягкостью чуялась большая

ее сила и власть над самцом; быть может, даже в этой мягкости чуялась она.

На своем языке, языке инстинкта, самка говорила самцу:

— Да. Можно.

И самец бросался к ней, весь изнемогая в страсти. И она отдавалась ему.

V.

Так было с неделю, с полторы.

Потом же, когда ночью приходил к ней самец, она говорила:

— Нет. Довольно.

Говорила она, инстинктом своим, чувствуя, что довольно, ибо пришла другая пора—пора рождения детей.

И самец, смущенный, будто виноватый тем, что не предугадал веления самки, веления инстинкта, вложенного в самку, уходил от нее, чтобы прийти через год.

VI.

И с весны все лето до сентября они, самец и самка, были поглощены большим, прекрасным и необходимым делом рождения,—до сентября, когда улетали птенцы.

Многоцветным ковром развертывались весна и лето. Горячими огнями горели они. Сосны украсились свечками и маслянисто пахли. Полыни пахли. Цвели и отцветали: сирюбига, цикорий, колокольчики, лютики, рябинки, иван-да-марья, чертополохи колючились.

В мае ночи были синими.

В июне—зеленовато-белыми.

Алым пламенем пожара горели зори, а от ночи по дну оврага белыми, серебряными пластами, стирая очертания сосен, шли туманы.

Сначала в гнезде было пять серых, с зелеными крапинками яиц. Потом появились птенцы: большеголовые, с чрезмерно большими и желтыми ртами, покрытые серым пухом. Они жалобно пищали, вытягивая длинные шеи из гнезда, и много очень ели.

В июне они уже летали, все еще головастые, пикающие, нелепо дергая неумелыми крыльями.

Самка была все время с ними, заботливая, нахоженная и сварливая.

Самец не умел думать и едва ли чувствовал это, но чувствовалось в нем, что он горд у своего прямого дела, которое вершит с великой радостью. И вся жизнь его была заполнена инстинктом, переносящим всю волю его и жизнеощущение на птенцов.

Он рыскал за добычей.

Надо было ее очень много добывать, потому что и птенцы, и самка были прожорливы. Приходилось летать далеко, иногда на Каму, чтобы там ловить чаек, всегда рожавшихся около необыкновенно больших, белых, неведомых и многоглазых зверей, идущих по воде, странно шумящих и пахнущих так же, как лесные пожары,—около пароходов.

Он сам кормил птенцов. Разрывал куски мяса и давал им. И наблюдал внимательно своими круглыми глазами, как птенцы хватали эти куски целиком, широко раскрывая клювы, давились ими и, тараща глаза, покачиваясь от напряжения, глотали.

Иногда кто-нибудь из птенцов, по глупости, вываливался из гнезда под откос. Тогда самец поспешил и заботливо летел вниз за ним, хлопотливо клекотал, будто ворчал; брал его осторожно и неумело когтями и приносил, испуганного и недоумевающего, обратно в гнездо. А в гнезде долго гладил его перья своим большим клювом, ходил вокруг него, из осторожности высоко поднимая ноги, и не переставал клекотать озабоченно.

Ночами он не спал.

Он сидел на лапе корня, зорко вглядываясь во мглу ночи, остерегая своих птенцов и мать от опасности.

Над ним были звезды.

И он иногда, чуя полноту жизни, красоту ее,—казалось так,—грозно и жутко ухал, встряхивая эхо.

— У-гу-гу-гу-у! — кричал он, пугая ночь.

VII.

Он жил зимы, чтобы жить. Весны и лето он жил, чтобы родить. Он не умел думать. Он делал это потому, что так велел бог, так велел тот инстинкт, который правил им.

Зимами он жил, чтобы есть, чтобы не умереть. Зимы были холодны и страшны.

Веснами же — он родил.

И тогда по жилам его текла горячая кровь, было тихо, светило солнце и горели звезды, и ему все время хотелось потянуться, закрыть глаза, бить крыльями воздух и ухвать беспричинно-радостно.

VIII.

Осенью улетали птенцы. Старики с молодыми прощались навсегда, и прощались уже безразлично.

Осенью шли дожди, волоклись туманы, низко спускались небо. Ночи были тоскливы, мокры, черны. Старики сидели в мокром гнезде, двое, трудно засыпая, мерзнув, тяжело ворочаясь. И глаза их светились зеленовато-желтыми огоньками.

Старец уже не ухал.

IX.

Так было тринадцать лет их жизни.

X.

Потом самец умер.

В молодости у него было испорчено крыло, с тех пор, как он дрался за самку. С годами ему все труднее и труднее было охотиться за добычей, все дальше и дальше летал он за ней, а ночами не мог уснуть, чуя большую, нудную боль во всем крыле, было страшно очень, ибо раньше он не чувствовал своего крыла, а теперь оно стало странно важным и мучительным.

Ночами он не спал, свешивал крыло, будто отталкивал от себя. А утрами, едва владея им, он улетал за добычей.

И самка бросила его.

Пред-весной, в сумерки она улетела из гнезда.

Самец искал ее всю ночь и на заре лишь нашел,—она была с другим самцом, молодым и сильным, нежно всклекотывающим около нее. И тогда старик почувствовал, что все, данное ему в жизни, кончено. Он бросился драться с молодым, но дрался неуверенно и слабо. А молодой кинулся к нему сильно и страстно, рвал его тело и грозно клекотал. Самка же, как много лет назад, безразлично следила за схваткой.

Старик был побежден.

Окровавленный, изорванный, с вытекшим глазом, он улетел к себе в гнездо, тихо опустился на свою лапу корня. И чуялось в нем, что с жизнью счеты его кончены. Он жил, чтобы есть, чтобы родить. Теперь ему оставалось — умереть. Верно, он чувствовал это инстинк-

том, ибо два дня сидел тихо и недвижно на обрыве, втянув голову в шею.

А потом, спокойно и незаметно для себя, умер. Упал под обрыв и лежал там с ногами скрюченными и поднятыми вверх.

Это было ночью. Новыми были звезды. Кричали в лесах, на токах птицы. Где-то ухали филины.

Самец пролежал пять дней на дне оврага. Он уже начал разлагаться, и горьковато, скверно пахнул.

Его нашел волк и съел.

САНКТ-ПИТЕР-БУРХ

Глава первая.

Столетия ложатся степенно, колодами. Столетий колоды годы инкрустируют, чтоб тасовать годы векам—китайскими картами.—„Ни один продавец идолов не поклоняется богам, он знает, из чего они сделаны“.—Как же столетьям склоняться—пред столетьями?—они знают, из чего они слиты:—недаром по мастям подбираются стили лет. „Третий император династии Да-Мин, Юн-Ло, прошел здесь, отправляясь на войну с монголами, приверженцами династии Юань, изгнанными из Китая его отцом Хунью“.—Это высечено на глыбах белого мрамора:—Юн-ло—оправдал ли годы свои сей надписью, ибо больше ничего от него не осталось?—И там же, „в тринадцатый день второй луны“, в тысяча шестьсот девяносто шестом году, по европейскому летосчислению, пришел император Конси, чтоб уморить голодом в Шамо и лошадей, и солдат. Шамо значит то же, что Гоби: Шамо—есть Гоби, пустыня. И поелику на белой мраморной глыбе есть надпись, истории сохранено имя деревни—Судетоу.—В Судетоу родилась его мать, и ей не коверкали ног с восемьми лет, как аристократам, ибо она была плебейка.

Столетия ложатся степенно,—колодами:—какая гадалка с Коломны в Санкт-Петербурге кидает картами так, что история повторяется,—что столетий колоды—годы

повторяют и раз, и два?!—Две тысячи лет назад, за два столетия до европейской эры, император Ши-Хоан-Ти, династии Цин, отгородил Империю Середины от мира—Великой Китайской стеной, на тысячу л.,—Ши-Хоан-Ти, коий сверг все чины и регалии, всех князей, нанеся сим „смертельный удар феодализму“, и, став—богдыханом,—как царь Петр в династии Романовых „прорубил окно“ и стал: императором, лишь—не успев состариться до богдыхана.

Первый Петр в династии Романовых и первый император Российской Равнинны, Петр Алексеевич сын Романов, однажды, в парадизе своем Санкт-Петербург, пропьянистовав день у сенатора Шафырова в „замке“ на Кайвусари-Фомином острову, направлялся в ботике по реке Неве на Перузину-остров, в трактир Австерию, дабы допьянистовать ночь. Ладожские льды к сему времени прошли, навигация открылась, и император узрел непорядок: несмотря на тихий простор реки, на белесую ночь и на белесые звезды в небе, баканы на реке-Неве не были зажжены и на Васильевом острову не горел маяк. Петр сидел у кормы, пьяно молчал и пьяно воскрикнул, наполняясь злобой и буем:

— Каковы циркумстанции?.. Каковы циркумстанции?!. Ка-ко-вы циркумстанции!..

На Неве-реке было весьма тихо и пустынно, и сенатор Шафыров прежде чем взглянуть в бабы глаза императора, окинул мышиным взором окружность. Рыгнул пьяным кулем корпуса своего:

— Ваше величество, служить готов...

— Ка-ко-вы циркумстанции?.. Паки и паки даны суть указы коммуникации устройства,—и паки и паки на маяке и на баканах огня не зрю, вопреки регламенту, коим указано с правой стороны красные огни жечь, а с левой зеленые, для указания фарватера!

Шафыров сказал:

— Ваше величество... поелику ночи суть светлые и звезды на небесах...

Император отвечал:

— Ваше сиятельство... Поелику небесные светила зажжены суть господом богом, служат богу и по сему человекам не подвластны. И sondern. Како огни на маяке зажжены суть рукою человека, посему—служат оные человечеку!.. Ка-ко-вы циркумстанции?..

Первый император, Петр Алексеевич, с пьяным Шафыровым, кулем свалившимся в бот, так и не доплыл до Австрии в ту ночь, „ходя“, как говорят моряки, на боте—по баканам, выколачивая на баканах дубинкою своей со спин баканщиков красные и зеленые огни, выколотив буем в себе хмель. И он был прав, император Петр, поелику огни, зажженные рукою человека, имеют человеческий смысл, как водители,—ибо на рассвете в ту ночь наполз на Санкт-Петербург стюденный туман и заволок—и звезды, и огни на баканах,—но могли наползти только облака, заморосить дождем, тогда исчезли бы звезды и остались бы одни огни, зажженные рукою человеков.

Конфуций сказал сие:

— „Ни один продавец идолов не поклоняется богам, он знает, из чего они сделаны“.

Каменная стена идет по холмам, чтоб потеряться вправо и влево из глаз. Время уже разворотило каменную стену, здесь шли и Ши-Хоан-Ти, и Юн-Ло, и Тамерлан, и многие, и под стеною, где всегда взвлескивали ящерки, растет белая крапива рами. Камни, небо, пустыня; на запад—Китай, на восток—Монголия, страна Тимуров. Разве он знал тогда, что вон там, за Гоби, за Алатау, за Туркестаном—вторая есть Империя Середины?.. У речонки Сайхе, в лессе, изрытом людьми, как ласточками, и про-

пахшем человеческой грязью и потом, он родился и жил. Над головой на лессе его отцы сеяли гаолян и сарго, трудясь муравьями—на полях, которые можно прикрыть каждое одной цыновкой,—и он, мальчик с женской походкой, выбирайся из мрака лесовых жилищ, бегал с камышевой корзинкой к стене, к Великим Воротам, где по Аргали-дзян шли караваны в Ургу, и там подбирал верблюжий, лошадиный и человечий назем, чтобы снести его к отцам в поле удобрять землю под гаоляном:—оттуда, от ворот в стене, уже развалившихся, виден был вдали город Душикау в каменных башнях, тоже уже развалившихся,—и мальчик, отдыхая, потихоньку ото всех, стрекаясь кропивой, ловил ящерок, священных животных, и давил им серебряные их животики, чтобы увидеть, как кишечки поползут изо рта. Отцы приходили с полей к ночи, когда было так же темно, как в лессе,—мальчик научился к тому времени есть уже палочками, а не руками, он уже не ходил совершенно голым,—но он еще боялся пещеры, вон той „к западу, в лессе“, куда ходил его отец размышлять в обществе предков о трудах, лучшей смерти и сарго, где хозяйничала старуха и где стояли идолы. Это была ночь и мальчик спал в углу на цыновке, покрытый прокисшим ватным одеялом. Мальчик—за все свое детство—не видел ни одного дерева,—ибо он жил за стеной, уже в Монголии, стране Тамерланов. Мальчик не знал, из чего делаются идолы.

Потом мальчик узнал, почему нельзя давить животиков ящеркам. Мальчик узнал, что значит труд отцов, что значит руками вспахать землю, руками принести с Аргали-дзян назем, руками охолить каждый куст кукурузы и гаоляна, чтобы не умереть с голода и жить в лессе,—и он научился трудиться. Он узнал о ян, и ин, о Двух Силах,—мир, как его отцам, стал перед ним в воле Лао-дэзы, для него некогда строилась Великая Стена, ибо Лао-дэзы

сказал о Тао, Великом — Равнодействующем. У отрока осталась, на всю жизнь, женская походка, но у него потускнели глаза и стали походить на стершийся сапок, китайскую монету. Отрок, узнавший, что „мир не есть настоящее бытие“, все же знал, как сеять сарго, томящее тело,—и он одолел „Четыре щу и пять Цзинов“, томящих ум. Он изучил „Фонтан знаний и реку, вытекающую из него“. Он истолковал восемь гуа, образуемых четырьмя прямыми длинными и восемью короткими, где открывается истинный смысл пассивного ин, что „человек есть продукт природы и потому не должен нарушать ее законов“,—и он, как все, кончил Ши-Цзином, книгою од.—И, все же, Душикау глядит в Монголию, как Монголия всматривается, усмехаясь Гоби, в Душикау.—Кто знает, что было бы?

Столетья ложатся степенно, колодами: столетий колоды годы повторяют и раз, и два, ибо история—повторяется. Ветхая китайская стена стояла две тысячи лет,—кто знает все пути—всех, и то—почему осудила судьба жить этому человеку вот теперь? Это там, в лесовой деревне—в лесовую деревню приходили из Юн-чжоу, из Цупуни, даже из Пекина нище-богатые люди, ничего не имеющие, что имеют все,—чтобы говорить о И-хэ-да-чюан,—о Хун-Ден-Чжао,—о Ша-Гуй,—о правде и согласии Большого Кулака, о Красном Фонаре, об уничтожении дьяволов, о том, чтоб восхищаться тем, что сарго уже столькото стоит, а труд дешев, что в Пекине—заморские дьяволы—янгуйзузы, как дома,—о том, что императрица (тс! тсс!.. шш!..)—императрица Цзы-Си—продана—блудная старуха—императрица... Они зажигали красные фонари в пещерах, и отец не уходил к предкам. Они сидели у фонаря, и казалось, что зубы у них больше, чем сле-дует и вставлены. Они уходили с песнями, и отец каждый раз брал его за руку, чтобы сказать, как зарубить—

„об этом никто не знает!“—но в夜里 звенела боевая песнь уходящих:

Тэн-да-тэн мынь-кай.
Ди-да-ди мынь-кай!

Кто знал там в лессовой деревне имена—доктора Сун-Ятцана и начальника Нуй-гэ—Юань-ци-Кая?—И был день, когда все узнали, что уже нет императрицы Цзы-Си в Империи Середины, и не будет Пу-И,—что трехлетний Хуан-Чжан Пу-И должен отречься. В тот день никто не пошел на поле, в тот день остановились караваны на Аргали-дзян,—в тот день все было новым, как праздник, и только стена и ящерки под ней были прежними,—в тот день. А потом, и ночами и в дни, шли люди с красными фонарями и с лицами, как плакаты,—с винтовками, саблями, даже с луками,—толпами и одиночками, и военными отрядами через каменную стену в ворота в Шунь-тянь-Фу, то есть Пекин. С ними ушел отец, взял саблю с драконами у ручки,—саблю предка, которая всегда висела в кумирне. Тогда, правда, стал дорог сарго и не хватало чаю, запертого югом, и кто-то ночью вытаптывал все поля. И тогда вернулся к своим предкам—отец, его голову носили на колу, а тело, сквозь задний проход и то место, где была голова, было проткнуто пикой, двое несли концы пики на плечах, и казалось, что отец ползает в воздухе, как ползал, когда обирали просо, и его долго носили по Аргали-дзян и по кислым улицам Душикау. В те дни многих чтили такой смертью, и родственники тогда должны были бежать, куда глаза глядят, скрываемые теми, которые вчера помогали таскать отцов. Люди с лицами, как плакаты, уже с обрезанными косами, шли и шли в ворота. Кто-то, какие-то поставили над стеной две пушки и стреляли целый день в Душикау и в лесс,—шальной снаряд ударила в плотину на речке Сой-Хе, и труды многих

лет погибли в час, тогда идущие бросились умирать к этим пушкам, и косы с разинутыми ртами мертвых голов повисли надолго в сырой полумраке ворот. И тогда настала „великая ночь Крови и Смерти“—19-я ночь шестой луны—и пришла последняя весть: трехлетний Хуан-Чжан—желтейший повелитель—Пу-И,—отрекся. Тогда люди пошли—из ворот.

Он—имя его Ли-Ян—ведь он же был в Душикау и в Пекине, это он ничего не понимал, обыватель.—И тогда он бежал сотни ли, через Монголию Тимуров, на Ургу, на Кяхту, чтобы спутать в памяти Владивосток, Порт-Саид, океаны. Он проходил мимо белых мраморных глыб, где высечено о том, что „Третий император династии Да-Мин, Юн-Ло, прошел здесь, отправляясь на войну с монголами, приверженцами династии Юань, изгнанными из Китая его отцом Хун-Ву“,—о том, что здесь умирали солдаты и лошади императора Конси. Но он не знал этого, он думал тогда лишь о том, что отсюда, из деревни Судетоу—его мать: его мать здесь ловила ящерок маленькой,—его мать, которую он бросил, как женщину. И вместе с ним шли десятки других, потерявших, бросивших—и отцов, и матерей, и братьев, и отечество.

„Ни один продавец идов не поклоняется богам, он знает, из чего они сделаны“.

Глава вторая.

„Ты еси Петр, и на камени сем созижду церковь мою“. Петр—есть камень и заштатный град и Санкт-Петербург—есть Святой-Камень-Город. Но—определение должно быть только в одном слове: Санкт-Петербург определяют три слова—Святой-Камень-Город,—нет одного определения,—и Санкт-Петербург посему есть фикция. Но—на

Неве-реке, пустынной, как Иртыш, все же лежал город, поистине, гранитный. Каменный город — и заштатный, и потому уже, что каменный и заштатный, не русский, конечно, ибо все русские заштатные города рыхлы, как бабы, засорены подсолнечной шелухой, пахнули селедочным хвостом, в скамьях с пестрыми юбками баб, рыхлых, как заштатных,—и все заштаты умирали навозной смертью. Перспективы проспектов Санкт-Петербурга были к тому, чтоб там в концах, срываться с проспектов в метафизику.—И в тот день, в обыкновенный—финляндский—денек, на Неве-реке, пустынной как этот финляндский денек и как Иртыш, долго гудел один-единственный катерок, отбрасывая эхо от Дворцов, от Биржи и Петропавловки, много эхо, как всегда в Поозерьи,—и тогда с Троицкого моста в перспективы проспектов ушел автомобиль, чтоб кроить перспективы, чтоб начать рабочий день человека и чтоб сорваться в конец—в концах проспектов—в метафизику.—Есть поэзия камня и тишины. Финляндские дни одеваются гранит мхом, зеленая травка пробила гранит:—на Невском проспекте в торцах зеленая травка поросла. Дворцы стали тогда мертвцами-музеями,—и разве не памятник, как Петру у Адмиралтейства,—памятник заштатов—дом, развалившийся на Гончарной? Поистине есть красота в умирании, и прекрасен—гранитный—был город, в пустынном граните, в мостах, в перспективах, в развалинах, в бурьяне заштатов, в безлюдии, в гулких эхо на пустынной—поозерной—реке, в обыкновенных—не русских—финляндских днях. А там, где столпились улицы из городков Московской губернии, на русской, на московской стороне, в переулочке, на перекресточке,—у дома в два этажа все окна выбиты были, нежилой дом, покинутый, магазин был внизу и видно было сквозь окна открытую внутреннюю дверь в пустырь за домом,—в магазине паутина повисла, кирпичи валялись и стекла...

„Ты еси Петр, и на камени сем созижду церковь мою“.

По Великой Европейско-Российской равнине прекрасная прошла революция. Сказания русских сектантов сбылись,—первый император российской равнине основал себе парадиз на гибких болотах—Санкт-Петербург,—последний император сдал императорский—гиблых болот—Санкт-Петербург—мужичьей Москве; слово Моск-ва значит: темные воды,—темные воды всегда буйны. Петербургу оставаться—сорваться с прямолинейной—проспекта—в туман метафизик, в болотную гарь, в туман, в навождение. Тот же финляндский денек обещал быть к ночи—туманною ночью, уничтожить прямолинейность проспектов, затуманить туманом. И автомобилю в тот день кроить улицы, избыть день человека—петербуржца—Ивана Ивановича Иванова, как многие в России. Иван Иванович был братом. Иван Иванович был интеллигентом. Автомобиль скидывал мысли Ивана Ивановича—в Смольном, на Невском, в Гороховую,—автомобиль—каретка—Бразье, где Иван Иванович сидел в углу—в зеркалах—на подушках—с портфелем. Автомобиль вновь ушел в пустыню Невы, как Иртыш, в простор Троицкого моста, чтоб свернуть на подъемный—мост же—Петропавловской крепости, в Петропавловскую крепость, чтобы погаснуть там у собора, у штаба. На соборе, у шпика реял монах. Тогда выстрелила на бастионе пушка, чтоб указать час, чтоб перекинуться мячиком эха дворцам с бастионами. И Иван Иванович долго сидел в кабинете конторы на задворках—вот, в кабинете с деревянными стульями и столом под клеенкой,—и к нему приводили людей из бастионов и равелинов—во имя революционной совести: двум человекам стать друг против друга с двумя правдами, с тем, чтобы одному человеку и

одной правде вернуться в равелин. Из штаба пришел китаец-красноармеец, которого привел тоже китаец-красноармеец, и долго ждал своей очереди китаец-красноармеец, потому что не было переводчика, а в бумагах значились пустяки, что у него, красноармейца, такого-то стрелкового полка Лиянова, найдены были при обыске английские золотые монеты,—и мимо него проходили к столу—говорить или молчать у стола.—

... В доме у инженера, в его кабинете, за ширмой стояла кровать,—и некогда так же стояла кровать у того же инженера в Лондоне. Тогда в Лондоне был подпольный съезд революционеров. И как тогда в Лондоне, встречаясь раз в год, здесь в Санкт-Питер-Бурхе, поздоровавшись, подошел потихоньку к кровати Иван Иванович и стал щупать—простыни.

— Ты что?—спросил инженер.

— Я смотрю, простыни не сырье ли? Не простудись, голубчик!

Они, инженер и Иван Иванович, знали друг друга с детства, с бабок в подлинно-заштатном городишке. У инженера корчили хари в кабинете китайские черти, кость, бронза и фарфор—твердым холодком корчили хари, и было в кабинете холодное венецианское окно, уходившее в белую ночь холодком белых стен кабинета. Инженеру—нельзя было горбиться.—В ту белую ночь у инженера была музыка, были музыканты и гости. Иван Иванович не выходил на люди, сторонился толпы, не любил людей, он сидел в кабинете, один в темноте. И инженер увидел, что Иван Иванович поражен музыкой,—поражен так, как могут поражаться, понимая, лишь избранные: в холодном кабинете, где черти корчили холодно хари, человеческая—настоящая—теплота села в кресло в углу, затомившись оттуда. Инженер тогда сгорбился у окна, в белой ночи,

и Иван Иванович подошел и стал сзади, прислонившись к плечу инженера.

— Я себя чувствую—хозяином на земле,—сказал инженер.—А ты?—Все по-прежнему,—гость?

— Да да, гость!

— Петербург—новая архитектурная задача, город без крыш, с катками в верхних этажах... тишина, вымиранье... гость?—в белую ночь в проспекты вглядывался инженер.—Я вчера ел хлеб из оленевого мха.—Гость?—Метафизика?

— Да, гость. Помнишь, в Брюгге, мы шли проселком. Мы тогда говорили—о мире. Я не поехал в Москву: кровь, копоть заводов, руки рабочих,—я провижу столетья!—и гость!..—Иван Иванович крепко прижался к плечу инженера, инженер сквозь пиджак ощутил теплоту от дыхания.—Какой ты большой, Андрей... В Брюгге такая же тишина... Какая музыка!

— Где?

— Там вон, в гостиной,—пианино.

В ту ночь—там, в туманных концах проспектов, автомобиль сорвался с торцов, с реальностями перспектив—в туманность, в туман,—потому что Санкт-Питер-Бурх—есть тройственно-определенное, то-есть фикция,—и все же есть камень. Инженер вышел к гостям и сказал:

— Знаете, кто был сейчас у меня в кабинете, какой гость?—и помолчал.—Иванов Иван,—и помолчал, выждав, как имя хлестнет по гостиной.—Музыку слушал, музыку знает,—гость на земле, чорт его знает!—К инженеру беспокойно подошла женщина, оба склонились в амбразуре окна,—там внизу с торцов сорвалась каретка—Бразье,—женщина коснулась нежно плечом плеча инженера,—такое древнее, такое прекрасное вино, лучше которого—нет:—женщина. Китайские черти—кость, бронза и фарфор—корчили хари.

В доме—дома—Иван Иванович Иванов жил, как—таратакан в щели. Он боялся пространства. Он любил книги, он читал лежа. Он не имел любимой женщины, он не сметал паутины. В маленькой комнатке были книги, и ширмы у кровати были из книг, и простыни на кровати были сухие. Автомобиль сорвался в туман. Двери были заперты и заставлены полками книг. В углу, на кровати, Иван Иванович,—лежа,—в идел огромную шахматную доску: этой доски не было в действительности.—Мир, дым заводов, руки рабочих, кровь, миллионы людей,—Европа, ставшая льдиной на бок в Атлантике,—Каменный гость, влезший—с громом—с конем на доску:—на шахматной доске. Простыни—сухие, в комнате мрак, и тут в сухих простынях, в подушках—мысль: я! я-а-а!—Каменный гость—водкой: „Ваше превосходительство. Паки и паки Россия влачима есть на Голгофе. Каковы циркумстанции“... Гость: „Никакой России, государь мой, никакого Санкт-Питер-Бурга,—мир!“—Каменный гость: „Выпьем, ваше превосходительство, за художество. Не пьете?“—„Не пью“.—„А за Алексеевский Петропавловской крепости равелин—паки не пьешь“—„Не пью“.—„Понеже и так пьяно, ваше превосходительство! — так ли?“—„Шутить изволите, государь мой,—Алексеевский равелин—я,—я—же!“—В сухих простынях, в жарких подушках, в углу—мысль: я-я! я-а-а!.. я-а—есть мир!

„Ты еси—Петр“.

...Китаец стоял в стороне, у китайца лицо, как у китайского черта в кабинете инженера, в кабинете конторы были деревянные стулья и стол под kleenкой. Китаец прошел в сторону—женской походкой, на нем была русская солдатская гимнастерка без пояса. За решеткой окна стоял автомобиль. На лице у китайца были—только зубы, чужие, лошадиная челюсть, он ими усмехался:—кто

поймет?—В конторе на окнах была паутина, стало быть были и мухи.—К столу подходили. Подошел инженер: инженеру нельзя было горбиться.

— „Я утверждаю, что в России с низов глубоко-национальное, здоровое, необходимое движение, ничего общего не имеющее с европейским синдикалистическим. В России анархический бунт во имя безгосударственности, против всякого государства. Я утверждаю, что Россия должна была—и изживает—лихорадку петровщины, петербурговщины, лихорадку идеи, теории, математического католицизма. Я утверждаю, что в России победит русское,—Алексеевский равелин. Инженер Андрей Людовский“.—Так было записано в протоколе.

Иван Иванович сказал по-английски:

— Помнишь, Андрей, мы играли в бабки. Но я своего брата...

И тогда на лице китайца—одни зубы—зубы совсем наружу, все лицо вопросом, с глаз спали сапеки, чтобы глаза—просили:—субординация спуталась. Китаец качался у стола справа налево и говорил—по-английски—все, сразу, что знал, много:—„Я хочу родину! Нуй-гэ Юань-Ти-Кай,—президент! Я хочу родину!“—Без субординации, в кабинете конторы разорвался кусок—горячего—человеческого!

...Китаца на шахматную доску!.. На набережных, в камнях, трава поросла, финляндские дни одевают гранит мхами: дворцы стали тогда мертвцами-музеями. Петр Первый ушел от адмиралтейства на Гончарную, где развалился дом: дом тогда придавил людей. Автомобиль—мостами, набережными, мост у Петропавловской крепости поднят,—автомобиль, каретка—Бразье, где Иван Иванович—в углу—в зеркалах—на подушках—с портфелем,—автомобиль простором Невы, как Иртыш, и поозерного неба—простором. В доме—в окне—через окно—через

крыши — через Неву — на взморье — в комнате — красная рана заката. Красная рана заката пожелтела померанцевыми корками, в желтухе — лихорадке. Ночью будут туманы. Желтуха? — китайца на шахматную доску! — Закат — ум и рал!.. Где-то далеко одинокий гудел катерок. Книги, книги, книги, — в померанцевых корках заката, на полках, и подушки не подсинила прачка. Ночью будет туман. У Ивана Ивановича не было женщины, — опять лихорадка. „Хина, кажется, желтая — хинная корка?“ Звонки.

— „Принесите черного кофе, покрепче, — покрепче“, — горничной: горничная-женщина: „надо, чтобы пришла ночью“...

„Помнишь, Андрей, мы играли в бабки. Но я своего брата послал расстрелять. Революция не шутит, милый Андрей!“ — „Петровщина. Лихорадка, Санкт-Петербурговщина? Большевик голову откусит, возьмет в рот и так: хак!?. — Нет большевика, нет никакой России, — дикари! Есть — мир!“ — Каменный гость: „Выпьем, ваше пре-восходительство, за художество. Кофий будете пить? — „Да, кофе“. — „Понеже и так пьяно, ваше превосходительство, так ли?“ — „Утверждаю, что коммунизма в России нет, в России — большевики. Алексеевский равелин. Инженер Андрей Людоговский“. — Каменный гость: „Брось, ваше превосходительство! Выпьем за художество! Плевать. Поелику пребываем мы в силе своей и воле“. — Гость: „Погодите, величество. Все есть — я! Слышишь, Андрей, все есть: я! я-а-а-а!.. Милый, Андрей!“

— Останьтесь, Лиза, на минуту.

— Простыни, барин, я просушила.

— Меня знобит, Лиза. Я одинок, Лиза, присядьте.

— Ах, что вы, барин...

— Присядьте, Лиза. Будем говорить.

— Ах, что вы, барин!.. Я лучше попозже приду.

— Присядьте, Лиза.

— Помнишь, Андрей, мы играли в бабки... У меня два брата. Один расстрелян, а другой... — Китаец полез по карте Европы, на четвереньках, — красноармеец Лиянов, — почему у китайца нет косы? Простыни — сухие, на шахматной доске — мир, руки рабочих, дым заводов, Европа — льдиною на бок в Атлантике, никакого Санкт-Петербурга, — китаец на четвереньках на льдине. — И никакой шахматной доски. — „Паки и паки влачимы будучи на Голгофу!..“

— Ты еси Петр и на камени сем я созижду церковь мою: — я-яаа!

— Ах, барин!

...Голубоватый зеленый туман восставал над Невой и окутывал крепость. А над ним, над туманом — апельсиновой корки цвета — меркнул закат, и в тумане, в желтом закате плавал на шпице над крепостью — чорт — ангел — монах, похожий на черную страшную птицу. Крепость в туман уплыла.

...В общей камере — одни лежали с газетами, одни — играли в шахматы из хлебного мякиша. Китаец женской походкой и с ноздрями над лошадиной челюстью, как у проститутки, — с лицом в мертвой улыбке, подходил ко всем, останавливаясь томительно против каждого, долго молчал, улыбаясь и говорил, не то спрашивая, не то утверждая: — „Кюс-но?..“ Все понимали, что это значит — скучно... — У волчка стоял другой китаец, страж, — иногда этот шептал в волчок:

— Ни юзы суй? — Сколько лет ты считаешь себе?

— Во эр ши ву. — Двадцать пять, — отвечал китаец из камеры.

И страж тогда говорил строго по-русски:

— Сту-пай! Нель-зя гово-ри! —

чтобы через пять минут прошептать вновь:

— Ни хао? — Ты здоров?..

Инженер Людоговский — инженеру нельзя было горбиться! — весь вечер играл в шахматы, у стола в сварбе чайников и железных кружек. Шахматы были слеплены из хлебного мякиша. Китайцу безразлично было на чем сидеть, он любил сидеть в углу, на полу и там что-то петь, очень беспокоящее, одностороннее, как вой собак от луны. —

Инженер Людоговский рассказал.

После смерти жизнь не сразу замирает в организме. Каждый знает, что волосы и ногти растут у мертвцев в течение нескольких месяцев. Одной из последних замирает деятельность мозга. Мертвец четыре недели после смерти — видит и слышит и, быть может, ощущает во рту привкус гнили. Он не может двинуться, не может сказать. Понемногу сгнивают нервы рук и ног — и тогда они вывиваются из сознания, из ощущений. Последним начинает гнить мозг, — и вот последний раз ушная барабанка восприняла звук, последний раз кора большого мозга ассоциировала мысль — о смерти, о любви, о вечности, о боже, — больше ведь ни о чем нельзя тогда думать, пред вечностью, тогда ведь нет — человеческих — отношений, — и потускнела мысль — как давно уже потускнели, остеклянели глаза, став — рыбьими, — потускнела, развалилась мысль, как развалился, сгнил мозг. Вот через глазные впадины вполз первый червь, — тогда глаза исчезли навсегда. После смерти идет новая, странная жизнь. Одним это — ужас, а ему — Людоговскому — — Любопытная мысль. Петербург...

Но инженер не кончил, отвернулся к стене, поднял воротник пальто, не отвечал: инженеру нельзя было корчиться. Никто не говорил. Тогда в углу стал перебирать стеклышики, завыл, как собака при луне, — запел боевую песнь китаец:

Тэн-да-тэн мынь кай.
Ди-да-ди мынь-кай.
Жо-сюэ тэн шень куй.
Во дин ши-фу кай.

В волчок прошептал китаец-страж:
— Ни гуй син? — твое дорогое имя?

На столе в камере на ночь остались шахматы, слепленные из хлебного мякиша. Ночью китаец съел шахматы, слепленные из хлебного мякиша. — А у дворцов на Зимней Канавке из зеленой воды в ту ночь выплывали — в тумане, опутавшем перспективы проспектов — двенадцать дебелых сестер лихорадок, Катерины, Анны, Лизаветы, Александры, Марии, — императрицы — чтобы поплыть на Неву-реку, как Иртыш-река, к Петропавловской крепости, травку рвать там на граните, цынгу разбрасывать, слушать давний спор Алексея с Петром, стон поэта Рылеева, — марши Николая Палкина, — поозерные сказки выведывать, — чтоб смотреть, как на Неве-реке справа красные горят коммуникационные огни, слева — белые, — чтоб увидеть там в тумане — сквозь туман — из тумана восставшую Великую Каменную Стену, поставленную императором Ши-Хоан-Ти за два столетия до Европейской эры.

— Во гуй син? — твое дорогое имя? — прошептал волчок.

— Во-син Ли Ян.

Был час, когда приходили, чтобы вызывать. Китаец подошел к Людоговскому, присел рядом на нарах на корточки, в полумраке выползла конская челюсть, усмехнулась, скорчилась:

— „Кюс-но?..“

Двенадцать сестер лихорадок плыли по Неве, туман пополз в оконца. Тогда загремел замок, чтобы прижать каждого к нарам, притиснуть в тоске: — „вот, ведь я же лежу, я лежу на нарах, я сплю, — зачем? — Я же сплю, — я-aaa.. за что?“

— Красноармеец Лиянов!

— „...Вот, ведь я же лежу, на нарах, я сплю, — не я, не я-aaa, — не меня!“

Красноармеец ушел. Загремел замок, снизив своды, стиснув камеру.—Можно закурить, чтобы не задохнуться.—Хинки бы, хины,—туман, лихорадка!—Не видно—Невы дно глубоко, где двенадцать сестер. Красноармеец Лянов— „кюс-но!“— тю-тю!..— „Столетия ложатся степенно колодами. Столетий колоды годы повторяют и раз и два, чтобы тасовать годы векам—китайскими картами. Ни один продавец идолов не поклоняется богам, он знает, из чего они сделаны“— „Как же годам склоняться—пред годами?— они знают, из чего они слиты: недаром по мастиям подбирают стили лет“ „Петр—есть камень, и заштатный город Санкт-Петербург—есть Святой-Камень-Город.

„(Ни) (ты) (один) (еси) (продавец) (Петр)...“

„Хинки бы, хинки!“—

„Кюс-но!..“

Глава третья, последняя.

— Ибо Санкт-Петербург—есть:—три.

„Мальчик—за все свое детство—не видел ни одного дерева, ибо он жил за стеной, уже в Монголии, стране Тамерланов“.

В Санкт-Петербурге, там, где столпились улицы из городков Московской губернии,—Рузская, Московская, Серпуховская,—на русской, на московской стороне, в переулочке, на перекресточке—у дома в два этажа, у неизвестного, у покинутого,—сквозь разбитые окна в магазине внизу—видно было открытую внутреннюю дверь в пустыре за домом,—там срублены были тощие топольки. Китаец—своими руками—спилил, выкорчевал тощие топольки. Китаец—своими руками—выбрал все камни и камешки. Дом покинули русские, по-русски загадив: китаец своими руками—собрал весь человеческий помет, с полов, с подоконников, из печей, из водопроводных раковин, из

коридоров,—чтобы удобрить землю. Там, кругом пустыря были кирпичные брандмауэры, на одном из брандмауэрлов росла бузина. Все камни, жестянки, обрезки железа, стекло, китаец сложил квадратами под брандмауэром, китаец нарыл грядки и на грядках посадил—кукурузу, просо и картошку. Был серый, финляндский,—поозерный—денек. Китаец встал с желтой зарей—и весь день, за весь день,—каждый кустик, каждую былинку, отрогал, охолил своими руками. И весь день китаец пел боевую, бунтовщическую китайскую—русскому уху звенящую тоской невероятной—песню:

Тэн-да-тэн мынь кай.
Ди-да ди мынь кай.
Жо сюэ тэн шень куй.
Во цин ши-фу лай!—

песню, в которой говорилось о том, чтобы — „небо растворило небесные ворота, земля растворила земные врата. Чтобы постигнуть сонм небесных духов, ибо Кулак Правды и Согласия и Свет Красного Фонаря сметут одним помелом. И звезда Чжи-Юй, обручившись со звездой Ню-Су, помогут им, спасут и охранят от огня заморской пушки“.—Был серый денек. Мальчишки соседних домов, которых китаец выгнал из пустыря, где они играли в Юденича и Карточное бюро, забирались на брандмауэр, висли на нем ласточками в ряд и кричали:

— Эй, ходя, косоглазый чорт! Кто тебе косу-то отбрал?
— Вот погоди, мы картошку-то слимоним!

Но китаец не слышал их, и в общем мальчишки больше наблюдали за человеком с женской походкой, трудившимся, как муравей на квадратном своем застенке,—один, всем чужой, желтый.

Был серый финляндский—поозерный—денек. Желтой, как хинная корка, зарей пришел он и хинною коркой

ушел. Вечером китаец один лежал в уделевшей комнатке внизу,—в комнатке пахнуло, как некогда пахнуло в лессе. Китаец лежал с открытыми глазами, с остеклявшим взором, корчась.—Что думал китаец, кто знает?—И в притихшей белой ночи, где-то в соседнем, Можайском, переулке пиликала и пиликала гармоника, и женский голос пел:

Когда б имел златые горы
И реки, полные вина...
Все б отдал за любовь, за взоры...

...А если бы в тот вечер—циркулем на треть земного шара, на треть земного шара шагнуть на восток, через Туркестан, Алатау, Гоби,—то там, в Китае, в Пекине (Иван Иванович был братом!)—в Пекине, в Китае——

Белогвардец, дворянин, офицер императорской армии, эмигрант Петр Иванович Иванов проходил воротами Гэ-тэ-мен,—в подземельи ворот, там, где ходят люди, было темно и сырьо,—Петр Иванович свернул налево. По широким квадратам каменных плит, под высокими стенами древних укреплений у рва, наполненного зеленою водой, а потом по каменному мосту через канал, он пришел до Западных ворот Танг-пъен-мэн, там, по покатому склону дерновой тропинкой он поднялся на стену; на бастионы, в тишину и безлюдье над городом. Какое странное зрелище для глаз европейца!—ведь европеец привык к квадратным громадам серых зданий наших больших городов, скованных квадратами проспектов. Солнце с темного и голубого неба, светя лучами, отбрасывало лиловые резкие тени от рвов, бастионов, от бананов, сверкало резко в лакированных черепицах крыш и рябило желто-золотистым, ярко-голубым, красным, причудливым костром пагод, храмов, киосков, башен, спиралей портиков, срезанных там вдалеке мрачной бурою линией стен и зеленої

мутью каналов:—там деловая толпа, —люди—китайский город—купцов, продавцов, плебеев и нищих, гул толпы, крики мулов и ослов.—Здесь, на стене, над городом—бездынье и тишина. Эмигрант, офицер русской армии, в офицерской шинели с золотыми погонами (весь багаж) сел у глыбы гранита. Серая офицерская шинель с золотыми погонами—весь багаж офицера! Нету сапог. И лето. Сколько верст или ли (по-китайски!) пройдено было. Офицер прислонился к гранитной глыбе, фуражку с белой кокардой надвинул поглубже, чтобы не рябило в глазах. Здесь, в безлюдье, в солнце и в день—спал офицер русской армии, эмигрант, Петр Иванович Иванов.

К вечеру, в заполдни, офицер шел в толпе между воротами Куанг-дзу и Ша-Ку. Крестьяне с мулов и ослов торговали мясом, дичью, луком, сарго,—и курили хрупкие трубки табака, мужчины и женщины, пока не пришел покупатель. Небрежной, неспешной походкой шли с веерами мужчины-джентльмены. Гул и шелест толпы уходил в лиловатое небо. У павильона, где стояла охрана, были врыты столбы с перекладинами, на столбах в бамбуковых клетках—в каждой клетке по голове—лежали головы мертвцев, глядевшие тусклыми, широко-раскрытыми глазами. Офицер остановился, чтобы посмотреть, что осталось от людей: рты были обезображенены веселой гримасой, у всех одной и той же, а зубы—конвульсивно сжаты, а с клеток капала еще свежая кровь и офицер почувствовал, что его тошнит от запаха свежего мяса. Это было место политических казней.—Там, в конце, у ворот, у стены под каштанами сидели, стояли, лежали—нищие, прокаженные, фокусники, гипнотизеры, старики. Мимо шли и ехали на людях и лошадях лорды и лэди. Офицер стал к нищим и, протянув правую руку, запел по-русски:

— Подайте милостынку, Христа ра-ади!..
Белогвардец, дворянин, офицер русской армии, эмигрант, брат, Петр Иванович Иванов.

Коломна.
Никола-на-Посадьях.
20 сент. 1921 г.

ТЫСЯЧА ЛЕТ

шной вынуждают вспомнить о сказках о смерти и воскресении
человека. Их сюжеты вспоминаются в самых разных жанрах. В
одной из них рассказывается о том, как некий старик, живший в
одном из сибирских сел, умер от болезни. Но когда он умер,
его сын, который был мальчиком, начал говорить с ним. Старик
вспомнил, что когда-то он, будучи юношей, убил кого-то, и
сказал сыну: «Отец, я умру, но ты не плачь за меня, я буду
жить в земле». Сын же, слышавший эти слова, отвечал: «Папа, я
не буду плакать, я буду ждать тебя, чтобы ты вернулся к нам».

Оставим мертвым погребсти своя
мертвецы. (Матфей, гл. VII.)

Брат приехал ночью, ночью же говорил с Вильяшевым.
Брат Константин вошел с кэпи в руках, в глухой тужурке,
высокий, худой. Свечи не зажгли. Говорили недолго,
Константин сейчас же ушел.

— Умерла тихо, покойно. Верила богу. Разорвать с
тем, что было, возможности нет. Кругом голод, цынга,
тиф. Люди — звери. Тоска. Видишь — живу в избе. Дом
взят — чужой. Мы чужие — они чужие.

Константин сказал коротко, спокойно:

— В мире нас было трое: я, ты и она, Наталья.
Finita. Со станции шел пешком, ехал в свином вагоне.
Не успел к похоронам.

— Похоронили вчера. Знала, что умрет. Итти отсюда
никуда не хотела.

— Старая девка. Здесь все изжито.

Константин ушел, не простившись. Младший Вильяшев.
увидал брата еще раз вечером, — оба бродили весь день
кругом, по суходолам. Говорить было не о чем.

Рассвет был мутным. В рассвете на кургане Вильяшев
приметил беркута: беркут сидел на плоской курган-
ной вершине, рвал голубя, — увидав Вильяшева, улетел в
пустынное небо, к востоку, прокричал над весенними

полями, одиноко, гортанно. Одинокий этот гosкующий крик запомнился надолго.

С холма, от кургана на десятки вёрст было видно кругом: луга, перелески, села, церковные белые колокольни. Над лугами восходило красное солнце, шли розовые туманы. Был утренник со звонкими льдинками на межах. Была весна, синим куполом стало небо над землею; дули бодрые ветры, тревожные как полусон. Земля разбухла, дышала, как леший. Ночами шли перелеты, кричали рассветами у кургана журавли, рассветами голоса их казались стеклянными, прозрачными, скорбными. Приходила буйная, обильная весна — непреложное, самое главное.

Над весенней землей гудели колокола: по деревням, по избам шли тиф, голод и смерть. По-прежнему стояли слепые избы, веящие по ветру гнилой соломой стрех, как пятьсот лет назад, когда каждую весну снимали их, чтобы нести дальше в леса, к востоку, к чувашам. В каждой избе была смерть, в каждой избе под образами лежали горячечные, отдававшие душу господу так же, как жили: покойно, жестоко и мудро. В каждой избе был голод. Каждая изба, как пятьсот лет назад, светилась ночами лучиной и огонь высекали кремнем. Живущие несли мертвых к церквам, и гудели весенние колокола. Живущие в смятении ходили по полям крестными ходами, вокруг сел, окапывали их, святили межи святой водой, — молили о хлебе, об избавлении от смерти, и гудел в весеннем воздухе колокольный гул. И все же звенели сумерками девичьи песни: сумерками приходили к кургану девушки, в пестрых своих домотканых одеждах, пели древние песни, — ибо шла весна, и пришел их час родить. Парни ушли на злую-лихую войну: под Уральск, под Уфу, под Архангельск. Выйдут землю пахать по весне — старики.

Вильяшев, — князь Вильяшев, древний род его повелся от Мономаха, — стоял на холме понуро, смотрел в даль, —

богатырь. Мыслей не было. Была боль, — знал, что кончено все. Пятьсот лет назад так же стоял, быть может, его предок — варяг, с мечем, в кольчуге, опираясь на копье: усы были у того, должно быть, как у брата Константина. У того было все впереди. Сестра Наталья умерла от голодного тифа, смерть свою — знала, звала. Ни Константин — старший, ни он, ни младшая Наталья — не нужны. Гнездо разорено — гнездо стервятников. Хищные были люди. Силы в Вильяшевых было много: обессилила сила.

От кургана Вильяшев пошел на Оку, за десять верст, — бродил весь день, — шел полями, суходолами, — кряжистый, в плечах сажень, с бородой по пояс, — богатырь. В оврагах лежал еще снег, текли по лощинам ручьи, шумели. Было небо теплым по-весеннему, синим, широким. Ока разлилась широким простором. Шел над рекою ветер, — был в ветре некий полусон, как в русской девушки, не испившей страсть, и хотелось потянуться, размять мышцы: были в Вильяшеве скорбь и тревожный полусон, тревога. Есть у русского тоска по далям, манят реки, как широкие дороги, на новые места: кровь предков еще не угасла. Вильяшев лег на землю, голову положил на руки, лежал неподвижно. Холм над Окою был лыс, ветер обдувал ласково, тихо. Звенели жаворонки. Справа, слева, сзади кричали птицы, весенний воздух нес все звуки, — от реки же шла строгая тишина, лишь к сумеркам загудел над нею заречный колокольный звон. Вильяшев лежал долго, понуро, неподвижно, — богатырь в тоске, — поднялся быстро, быстро пошел назад. Ветер ласкал бороду.

Брата Вильяшев встретил у кургана. Небо налилось вечерним свинцом, березки и елочки под курганом стали прозрачны и тяжелы. Несколько минут весь мир был желтым, как болотные купавы, позеленел и начал быстро синеть, как индиго. Запад померк лиловой чертой, в до-

лине пополз туман, прокричали пролетевшие гуси, просто-нала выпь, и стала весенняя ночная тишина, та, что не теряет ни одного звука, сливая их в настороженный весенний гул, — настороженный, как сама весна. Брат, князь Константин, шел прямо к кургану, в кэпи, в английском своем пальто с поднятым воротником, с тростью на руке. Подошел и закурил, огонек осветил орлиный его нос, костистый лоб, серые глаза блеснули холодно и покойно, как ноябрь.

— Весной, в перелет, как птицу, тянет человека куда-то. Как умерла Наталья?

— Умерла на рассвете, в сознанье. Жила же без сознанья, ненавидела, презирала.

— Посмотри кругом. — Константин помолчал. — Завтра благовещение! Я думал. Посмотри кругом.

Курган стоял темным пятном, шелестела едва слышно прошлогодняя полынь, булькал выходивший из земли воздух, какой-нибудь земляной газ. Запахло тлением. Небо за курганом помутнело, долина лежала пустынной, бескрайней. Воздух посыпал, похолодел. В старину в долине был волок.

— Слышишь?

— Что?

— Земля стонет.

— Да, просыпается. Весна. Земная радость.

— Не то. Не об этом... Скорбь. Пахнет тлением. Завтра благовещение, великий праздник. Я думал. Посмотри кругом, Люди обезумели, дикари, смерть, голод, варварство. Люди обезумели от ужаса и крови. Люди еще верят богу,несут покойников, когда их надо сжигать, — еще идолопоклонство. Еще верят лешему, ведьмам, чорту и богу. Сыпной тиф люди гонят крестными ходами. В поезде я все время стоял, чтобы не заразиться. Люди думают только о хлебе. Я ехал, мне хотелось спать, пред

моими глазами маячила дама в шляпке, которая, захлебываясь, говорила, что едет к сестре попить молочка. Меня тошнило, она говорила — не хлеб, мясо, молоко, а хлебец, мясо, молочки. Дорогое мое маслище, я тебя скучаю.. Дикость, люди дичают, мировое одичание. Вспомни историю всех времен и народов: резня, жульничество, глупость, суеверие, людоедство, — не так давно, в Тридцатилетнюю войну, в Европе было людоедство, варили и ели человеческое мясо... Братство, равенство, свобода... Если братство надо вводить прикладом, — тогда... лучше не надо... Мне одиноко, брат. Мне скорбно и одиноко. Чем человек ушел от зверя?..

Константин снял кэпи. Костистый лоб был бледен, зелен в мутном ночном мраке, глазницы запали глубоко, лицо напомнило на момент череп, но князь повернул голову, взглянул на запад, хищно изогнулся горбатый нос: мелькнуло в лице птичье, хищное, жестокое. Константин вынул из кармана пальто кусок хлеба и передал брату.

— Ешь, брат. Ты голоден.

Слышно было, как в долине, во мраке загудел колокол, на выселках гулко лаяли собаки. Широким крылом обвеивал ветер.

— Слушай. Я думал о благовещении... Я представлял себе. — Медленно меркнет над западом красная заря. Кругом дремучие леса, болота и топи. В лощинах, в лесах воют волки. Скрипят телеги, ржут лошади, кричат люди, — это дикое племя Русь ходило собирать дань, и теперь волоком идут с Оки на Десну и на Сож. Медленно меркнет красная вечерняя заря. На холме князь стал табором: умирал медленной вечерней зарей юный княжич, сын князя. Молились богам, жгли на кострах девушек и юношей, бросали людей в воду водяному, призывали Иисуса, Перуна и богоматерь, чтобы спасти княжича. Княжич умирал, княжич умер

страшною весеннею вечернею зарею. Тогда убили его коня, его жен и насыпали курган. А в стане князя был араб, арабский ученый Ибн-Садиф. Был он в белой чалме, тонок, как стрела, гибок, как стрела, смугл, как вар, с глазами и носом, как у орла. Ибн-Садиф Волгой поднялся на Каму к булгарам, теперь с Русью пробирался в Киев, в Царьград. Ибн-Садиф бродил по миру, ибо все изведал, кроме стран и людей... Ибн-Садиф поднялся на холм, на холме жгли костер, на плахе лежала обнаженная девушка с распоротой левой грудью и огонь лигал ее ноги, кругом, с мечами в руках стояли хмурые усатые люди, древний поп-шаман кружился перед огнем и неистово кричал. Ибн-Садиф повернулся, ушел от костра, спустился на волок, к реке. Уже померкла заря. Четкие звезды были в небе, четкие звезды отражались в воде. Араб взглянул на звезды в небе и на звезды в воде, — всегда одинаково дорогие и призрачные, — и сказал: — „Скорбь. Скорбь“. За рекою выли волки. Ночью араб был у князя. Князь правил тризну. Араб поднял руки к небу, как птицы крылья взметнулись белые его одежды, сказал голосом, напоминающим орлиный клекот: — „Сегодня ночь, когда ровно тысячу лет тому назад в Назарете архангел сказал богоматери о приходе вашего бога, Иисуса. Скорбь. Тысяча лет!“ — так сказал Ибн-Садиф. Никто в таборе не знал о благовещении, о светлом дне, когда птица не вьет гнезда... Слышишь, брат? — гудят колокола. Слышишь, как воют собаки?.. А над землей по-прежнему — голод, смерть, варварство, людоедство. Мне жутко, брат.

Лаяли над холмом на выселках собаки. Ночь стала синей, холодной. Князь Константин присел на корточки, опираясь на трость, и сейчас же поднялся.

— Поздно уже, холодно. Идем. Очень жутко. Я ни во что не верю. Одичание. Что мы? Что наши чувствования,

когда кругом дикари. Одиноко, брат. Никому ненужны, — наши предки не так давно пороли на конюшне, девок в брачную ночь брали к себе в постель. Проклинаю их. Звери... Ибн-Садиф!.. — князь вскрикнул глухо, гортанно, дико. — Тысяча лет. Отсюда в Москву я, верно, пойду пешком.

— У меня, Константин, силы — как у богатыря. — Вильяшев говорил тихо. — Сломать, изорвать, растоптать хочется, а сладили со мной как с дитятей.

Курган остался позади. Шли холмом. Обильная, разбухшая земля вязла в морозце. Во мраке прокричали гуси, севшие на ночь. На лугу синел туман. Вошли в деревню, деревня была безмолвна, за околицей лаяла собака. Шли бесшумно.

— В каждой избе тиф и варварство, — сказал Константин и — замолк, прислушиваясь.

За избами на проселке из села девушка пели церковный тропарь о благовещении. В весеннем настороженном вечере мотив гудел торжественно — просто и мудро. И, должно быть, оба почуяли, что тропарь этот непреложен, как непреложна весна, с ее законом рождения. Стояли долго, переминая промокшие ноги. Каждый, должно быть, почувствовал, что — все же в человеке течет светлая кровь.

— Хорошо. Скорбно. Это не умрет, — сказал Вильяшев. — Из веков.

— Удивительно хорошо. Странно хорошо. Жутко хорошо! — отозвался князь Константин.

Из-за угла вышли девушки в пестрых поневах, прошли мимо чинно, парами, пели:

Богородице дево, ра-адуйся..
Благодатная Марие, господь с тобою.
Благословенна ты в жена-ах...

Повеяло землей — сырой, обильной, разбухшей. Девушки шли медленно. Братья стояли долго, пошли тихо. Кричали полночные петухи. За холмом поднялся последний перед пасхой месяц, кинул глубокие тени.

В избе было темно, сырое и холодно, так же, как в день смерти Натальи, когда хлопали беспрестанно дверями. Братья разошлись по своим комнатам быстро, не разговаривали, свечей не зажигали. Константин лег на постели Натальи.

На рассвете брат Константин разбудил Вильяшева.

— Ухожу, прощай. Finita. Из России: из Европы — уеду. Нас в округе, — отцов, — стервятниками звали. Травили борзыми волков, людей, зайцев. Скорбь. Ибн-Садиф.

Константин зажег на столе свечу, прошелся по комнате, и Вильяшев поразился: на стену, выбеленную известкой, преломленная сквозь синий рассветный свет, упала синяя тень брата, удивительно синяя, точно на стену пролили синьку, и брат, князь Константин, показался мертвым.

Никола-на-Посадьях.

6 апр. 1919.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО KNEEB PITER KOMANDOR

Не презирати, не за псы имети,
Паче любви, яко свои дети.

Симеон Полоцкий.

Россия, ницкая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые,—
Как слезы первые любви.

Пускай заманит и обманет,
Не пропадешь, не сгинешь ты.

A. Блок.

Глава первая.

— Понѣже Государство, какъ учать французы, гармонія всѣхъ естествъ есть, не токмо фізіческихъ, но і духовныхъ, мню я, что Его Величество Государь Петръ Алексѣевичъ единое оскудѣніе учиніль Государству Россійскому, ибо владодательство, т.-е. політика, не есть дебошанство. Бывъ многажды въ Винесіи, Парізѣ і земляхъ Фламандскіхъ не могу оставить мыслю Родины. Гісторія ея туманна есть, понѣже холопы и прочій подлый народъ оставленъ въ бытіи первобытномъ, а шляхетство, яко-бы штудіруя въ Академії-де-Сіянсь, імъя Регламенты і во всякихъ художествахъ искусство получивъ,—не есть что кромѣ, како

амурщики і галанты, пітухи і мздаймцы, мордобівцы і воры, і казни государівій казнокрады, ибо совѣсть ихъ пропіта есть і отцовы заказы забыты суть. Младымъ отрокомъ отъ сословъ матери оторванъ бывъ, получивъ искусство артиллериі за границею, съ младыхъ лѣтъ пріученъ бывъ зѣло піти, обрѣль я ко зреіому возрасту единую скорбь, безвѣrie і плутничество. Государство наше Россія пребывает въ гладѣ, морѣ, бунтахъ і смутахъ.—

Так записал в юрнал свой Гвардии обер-офицер Зотов, отбывая дежурство в Адмиралтейской крепости, в канцелярии Адмиралтейств-коллегии. В каменной полутемной комнате со сводчатыми потолками было захаркано и заплевано. За приземистыми, уже успевшими заплыться, оконцами, на квадратном дворе грудами свалены были лыко, мочала, канаты, распиленный лес. Слева пламенела кузница. От нижнего каменного бельверка шла куртина. По недостроенным бастионам ходили часовые. У самой Невы, на доке стоял скелет фрегата, напоминавший костяк дохлого мамонта, привезенного недавно в куншткамеру. Около бастионов и у фрегата толпились работные людишки, пригнанные сюда со всей России, тверские, вологодские, астраханские, калмыки, татары, хохлы, в рваных зипунишках, в лаптях, а иные и без лаптей. Снег лежал грязный и осунувшийся. Ветер дул с моря, нес ростепель, нѣвские льды тронулись ночью, серые облака шли неспешно,—мартовский день походил на октябрь. За рекой одиноко торчали неспиленные еще сосны, точно на лесной порубке. На Васильевом Хирви-сари-острове, пилкой очерчивая серое небо, толпились кое-где еловые, стройные перелески. Над головою, на адмиралтейском спице пробили куранты семь, и сейчас же за ними заскрипели цепи подъемных ворот. Вошел солдат и поставил на столе тусклую масленку. По бою курантов, по скрипу ворот, по походке солдата, по тому,

как поднят штандарт,—гвардии офицер Зотов научился узнавать о настроении государя: служба была госуда-рева. И всегда, когда Зотов думал о Петре, все существо его напрягалось тоскою и болью: ему вспоминался серенький январский день, когда отца его, князя-папу, Никиту Зотова, восьмидесятичетырехлетнего старика, по именному указу государя, венчал девяностолетний поп с шестидесятилетней старухой Пашковой. Шествие, санкционированное указом, начиналось у Зимнего дворца. В саны „молодых“ были запряжены четыре медведя, к козлам был привязан олень. Во главе процессии шел палач и кесарь Ромодановский, коий „пьян во все дни“. Все министры, аристократия, дипломатический корпус,—все присутствовали на этом узаконенном издевательстве. Медведи, которых били, дико ревели. Князь-папа наряжен был в костюм жреца, полуобнаженный, дрог на морозе,—дрог и кривлялся, кривлялся, чтобы увеселить государя. В канцелярии Адмиралтейств-коллегии Петр был утром, Зотов еще спал, устроившись на столе, его разбудил сержант. Государь вошел в треуголке, одетый в зеленый сивильный сюртук, сильно потрепанный, в узкие черные штаны, красные чулки, вязания императрицы Екатерины, и в скошенные немецкие туфли (карманы сюртука и брюк оттопыривались сильно, набитые трансциркулем, компасом, ватерпасом и прочими инструментами, которые Петр всегда носил при себе). Шел сгорбившись и стремительно, размахивая руками, широко расставляя тонкие свои ноги, косолапя, подражая, по привычке, голландским матросам: стало быть, его величество был в расположении духа хорошем. Гвардии обер-офицер Зотов стал во фронт. Государь, на европейский манер, подал руку. Куранты пробили три четверти пятого пополуночи. В окна шла туманная муть. Государь непристойно сострил, актерски расхохотался, как всегда, на о,—прошел к столу,

просматривал бумаги. Затем отомкнул своим ключом шкаф с тайными государственными бумагами, касающимися адмиралтейства, и жестом пригласил проследовать в него офицера Зотова.

Сказал:

— Возможности не имея пребывать ионе на заседании Адмиралтейства-коллегии, прошу ваше благородие присутствовать при нем тайно, в силянсе. Донесение извольте учинить начальнику тайной канцелярии графу Петру Андреичу.

Никогда, нигде не было такого сыска, как при Петре в России. Гвардии офицер Зотов, бряцая эспадроном и шпорами, прошел в шкаф, от государя пахнуло потом и водкой. Петр замкнул ключ и, уходя, крикнул бодро:

— Имею честь поздравить ваше благородие с открытием навигации. В завтрашний день пожаловать просим ко дворцу на трактамент!

В шкафе было темно и душно, в щели шел серый свет. Зотов покурил из голландской своей трубки, устроил сидение из бумаг, оперся на эспадрон и заснул, привыкнув спать во всяких положениях. К десяти стали собираться члены. Апраксин послал сержанта за водкой. Зотов подслушивал: говорили то, что говорила вся Россия, так же, как говорила вся Россия,—о том, что Россия разорена, что в Заволжье бунтуют калмыки, на Дону непокойны казаки, что по деревням голод и смерть,—по деревням пошли юродивые ради Христа, в деревнях нашли антихриста... Начальник тайной канцелярии граф Петр Толстой пришел в коллегию к четырем по полудни и выпустил Зотова из шкафа. И Толстой, человек, задувший в Адмиралтейском и Петропавловском застенках не одну сотню людей, сидя у стола, глядя на Неву немигающими своими глазами, говорил так же, как все, трусливо и зло:

— На Кайвусари-Фомином острову новый праведник сыскан. В Адмиралтейский застенок сей юродивый доставлен.—Толстой помолчал.—Вся Россия зело плачет. Ночью приди.

Зотов спросил:

— Веришь, ваше сиятельство, ради Христа юродивым? Толстой осмотрелся кругом, пристально взглянул на Зотова немигающими своими глазами, сказал тихо:

— Верю веъма преисполнен.

Куранты пробили семь с четвертью. Сумерки мутнели грязно. Нева набухала, с моря шел ветер: к рассвету надо было ждать наводнения. Зотов прошелся по комнате, разминая ноги в ботфортах с голенищами до паха. Остановился у двери и прочел царский указ, уже пожелтевший и засиженный мухами:

— „Великій Государь указаъ симъ объявить, какъ и прежде сего объявлено было, чтобъ у кораблей и прочихъ судовъ, такожъ у галеръ въ гавани, при Санктъ Питербурхъ, никакого огня не держать, такожъ и табаку не курить, а ежели кто въ ономъ същества виновенъ, будеть бить: по первому приводу будеть наказанъ 10 ударами у мачты, а ежели приведенъ будеть въ другой разъ, оный будеть подъ киль корабельный подпущенъ и у мачты будеть бить 150 ударами, а потомъ вѣчно на каторгу сосланъ“.

Прочитав, гвардии обер-офицер Зотов набил трубку и от масленки закурил.

Заснув еще, в двенадцать он сделал обход часовых,— часовые стояли на посту 24 часа, и не смели спать, ибо биты были тогда батогами нещадно. Сменив посты, пе-

редав караул и дежурство, направился домой, тут же, на Московской стороне, за Мьей-рекой, в гвардейские казармы. Проскрипели подъемные ворота, в канале шумела прибывающая вода. Охватили мрак, сырость, ветер, ботфорты вязли в разбухшей глине. На пустырях пересвистывались дозорные, на Кайвусари-Фомине острове звонили в колокол. Во мраке натыкался на сваленный лес, на изгородья новых недостроенных построек. У каторжного двора испуганно окликнул часовой. Италианский дворец горел желтыми огнями. На немецкой слободке, где жили съехавшиеся со всех стран на легкую наживу всяческие неудачники, прохвости и пираты, трещала кототушка. Ветер дул упорно, сырой, упругий. После сutoчного сидения в сырой канцелярии, нудного безделья и неловкого сна члены тела казались помятными, опухли глаза, слипался рот. Заморосил дождь. В офицерском корпусе гвардейских казарм были шум, пение, крики, визжал орган: офицеры только что вернулись с ассамблеи, где наплясались и перепились. Молодежь толпилась около дневальной каморы, куда затащили срамную девку.

Гвардии обер-офицер Зотов собирал и собирался записать в журнал свой материал об основании Санктпетербурга, парадиза Петра,—этого страшного города на гибких болотах с гибкими туманами и гнилыми лихорадками. Во имя случайно начатой (как и все, что делал Петр) войны со шведами, случайно заброшенный под Ниеншанц, Петр случайно заложил—на болоте невской дельты, на острове Енисари,—Петропавловскую фортецию, совершенно не думая о парадизе. Это было в семисот третьем году,—и только через десять лет стал строиться — Санкт-Петербург, — строился так же дико, стремительно, жестоко, как и все, что делал Петр.

Главной задачей устроения парадиза было, чтобы он не походил на Москву. Санктпетербург должен был стать

каменным: указом государя запрещалось ставить каменные поставы во всем государстве, кроме Санктпетербурга, а в оном, ежели дом и строен был из дерева,—шить его тесом и раскрашивать под кирпичи. „За Тюркскою воиною зъло мало въ высылкѣ было работныхъ людей въ Санктъ-Питеръ-Бурхъ, чего для потщитесь къ будущему лѣту и къ зимѣ указное число выслать:—съ 35 городовъ, посадовъ, дворцовыхъ волостей, помѣстьевъ, вотчинъ, всякихъ чиновъ людей, съ крестьянскихъ и бобыльныхъ дворовъ“—отовсюду велено было пригонять въ Санктпетербург „от 9-ти дворовъ человека“. Людей сгоняли палками, гнали въ цепяхъ, работные людишки должны были итти „съ плотничными снарядами, съ топорами, а у всякого бѣ десятника было по долоту, по бураву, по познику, а хлѣбу и запасу тѣмъ работнымъ людямъ взять съ собою чѣмъ мочно“. Работные людишки голодали, гнили, мерли отъ повалок, редкий работалъ больше года, каждый годъ вымирали до ста тысяч людышек — городъ бутился человеческими костями. Не хватало инструментов, землю носили въ подолахъ рубах; не хватало лаптей—ходили босыми. Работали, стоя по пояс въ водѣ; жили въ гнилыхъ землянках; иные уходили въ бега, въ леса, къ разбойникам; иные бунтовали,—тогда ихъ вешали у Петропавловского кронверка десятками, для показу. Рабочихъ указ данъ былъ брить. Местные люди жульничали (хорошихъ жуликовъ любилъ Петр), откупались и покупались взятками:—взятки Петръ называлъ „коварствомъ“. Писалъ: „Съ Казанской губерніи не дослано сюда за прошлый годъ положенныхъ денегъ больше 20 т. рублей, чему удивляемся мы, что такія дѣла у насъ забвенію преданы“,—и грозилъ дыбою. Хоронили холоповъ тамъ же, где они подыхали. Работные людишки, раздетые, голодные, цынготные, безумели отъ страха, мучений, непонимания. Вельможамъ выезжать безъ разрешения изъ города было воспрещено. На всѣхъ госу-

даревых крышах указ дан был ставить „спицы“, — дабы время свое люди по часам знали. Начальником города был князь Меншиков, генерал-губернатор ингерманландский, — либер-киндер-Саша, как звал его Петр.

На рассвете ударили в набат. На Петропавловской и Адмиралтейской фортециях запалили из пушек. Офицеры выбежали на плац, из казарм выбегали солдаты, примыкая на бегу к фузелям баинеты. Заревел сигнальный рог. Выстроились. Был грязный рассвет. Ветер перешел в штурм, свистел в трех голостволовых соснах, еще не срубленных. Говорили о наводнении: на Васильевом-Хирвисари острове смыло весь запасенный лес, потонул в канале гвардии офицер Дерябин. Нева разбухла, посинела, щетинилась зелеными беляками. Кто-то сказал, что подступают шведы, заговорили о бунтах. Дождь косил косо, холодно. Загудели колокола в церквях. Опять ударили из пушек. Скомандовал дежурный генерал, офицеры передали команду по ротам. Вышли с плаца, пошли по направлению к Италианскому дворцу. Утро было мутное, холодное, мокрое, грязное.

На дороге повстречал конный ординарец, снял шляпу (ветер сорвал его парик) и крикнул:

— Его императорское величество конфузию сию учинить приказал с первым текущим апрелем и с открытием навигации! А також указал прибыть ионе ко дворцу на трактамент!

Полк прокричал приветствие императору и повернулся обратно.

Глава вторая.

С взморья, из-за Малой Невы, из лесов, часто набегали на Санктпетербург волчьи стаи, драли и скотину, и людей. Разливом загнало стаю на Мистула-Елагин остров. Было доложено государю, и Петр поехал ловить „сих

аритетов“ для куншткамеры, погнав с собою сотню людышек. День был мутный и мокрый.

На Кайвусари-Фомином острове, за кронверком, у Татарской слободы, где на песках торчали тоскливы юрты киргиз и калмыков, обезумевших дикарей, пригнанных сюда с Заволжья, у старых ветел, объявился человек. Был он бос, с раскрытым головою, с бородою седой до пояса, с лицом сухим и строгим, в ладной монашеской рясе. Старик говорил о государе, о том, что царь Петр есть-де антихрист, будет-де весь народ печатать, „а на которых печати не будет, тем и хлеба давать не будут“. Говорил, что Нева-де пойдет вспять, развернется хляби и снесут проклятый народом город. Показывал калмыкам налоговый знак на право ношения бороды, где выбиты были двуглавый герб российский, нос с усом и борода, и надпись: „дань заплачена“. На старика, на толпу бросились семеновцы с батогами, старец скрылся за юрты, его ловили. Петр, возвращаясь с ловли волков, принял участие в новой ловитве, командовал. Сыскан старец был вскорости, за кронверкским валом, к вечеру притащен был в Адмиралтейской фортеции застенок: в двадцатом году, после удушения в Петропавловской крепости Алексеевском равелине царевича Алексея, дан был указ, — „для розыска во всякихъ дѣлахъ застѣнокъ сдѣлать въ Адмиралтейской крѣпости“. Под крепостным валом, в подземельи, в канцелярии застенка встретил старика граф Толстой. Тускло горела масленка, залитая конопляным маслом, комната была приземиста, без окон, со сводчатым кирпичным потолком. Толстой сидел у стола, расставив ноги, барабанил тонкими своими пальцами по столу, смотрел немигающими глазами долго и пристально, молчал. Старик стоял перед ним прямо, не подвижно. От графа пахло водкой, от старика — луком и редькой.

— Как звать? Отколь? — спросил Толстой.
— Крещен Тихоном. С Белоколодезского погосту, с Коломенской волости.
— За трегубую аллилу и двуперстие, что ли?
Старик помолчал.
— И за них.
— Поди сюда, сукин сын.
Старик подошел, граф ударил его ботфортом снизу в живот.
— Глаголь орацию. Говори, когда потоп предрекаешь?
Какую силу в медали нашел? Слово и дело государево.
— Егда потоп придет, един бог саваоф вестя. Предсказать еще не мочен.
— Говори орацию.
Молчали оба долго. Заговорил старик.
— Грахф!.. Внемли, — всякого благорассудного естество есть, но не оскуденья. Што с землей нашей стало есть? — стон, вопль и плач мирской. Единые балаганства суть. Весь народ наготствует, совесть купуется, правда в бордели сокрыта. О, Россие! балаган!.. Мой сын стариком стал, — и все война, немцы засилили. Царь с трубкой в зубах, как матрүс заморский, одет, как немчин, пьян, яко ярыга, ахальничает, матершинит, яко татар, — ца-ары!.. Грахф!.. прими сие: царь наш подмениный, немчин, — егда он за море с ближними людьми поехал, в стогольское царство прибыв, к стогольской той царице-девке пошел, а оная девка, Ульрика, спать с собою его положив, над государем нашим надругалась, на пуп свой клала, а пуп ей как сковорода горячая, и сменила немецкая стогольская девка Петра Алексеевича оборотнем, дабы брил он бороды, кафтанье резал, однорядки, фрези... Грахф!.. печатать хлеб скоро будут, понеже привезены печати. Летосчисление наинак поставлено. Еретики папежники, лютеры веру застят... А царица та, сто-

гольская девка Ульрика, как была имянинница, стали ей говорить ее князья да бояре: — пожалуй, государыня, ради такого дня выпусти его, государя. Оная блудная девка сказала: — подите, посмотрите, коли он жив валяется, для вас его выпущу. Те, посмотря, сказали: — томен, государыня. — А коли томен, так вы его выкиньте на помет. А Алексашка Меншиков, конюх, христопродавец, да Лефорнемчин, подобрав его в тот час, в бочку смоленую замолили да в море выкатили. А как видел это стрелецкий сотник, то новый их содружник-дебошир, государев оборотень, и облютился на стрельцов. Авдотью Федоровну в монастырь сослал, потаскушку Монсову взял, — оморок мирской!.. Грахф! На смех все изделано есть!.. на смех, на издевку... Балаган!.. Отверзни очесы своя!.. Грахф!..

Масленка горела тускло, коптила. Стены и потолок были в сырости, в мокрицах, сырость пронизывала. Толстой сидел неподвижно, смотрел не мигая мутными своими раскосыми глазами. Старик говорил, боясь остановиться, боясь замолчать. Лицо старика было бледно, масленка потрескивала.

— Поди сюда, сукин сын. Хвамилие? — Сенсу довольно.

— Старцев прозываюсь. Три сына у меня на войне сгибли, два мнука...

— Когда потоп предрекаешь?

— Егда потоп будет, един бог вестя, но быть — будет.

— Поди сюда, сукин сын! Дыбу ведаешь?..

Открылась железная дверца, вошел гвардии обер-офицер Зотов. Покачиваясь, прошел к табурету, рухнул, положив голову на стол, икнул, вытащил из-за ботфорта штоф, захочотал.

— Што? — спросил Толстой.

— Ноне в сенате, собравшись в конзилию, Ягужинский со Скорняковым в каллизию вошли, за сим впу-

тался светлейший Алексашка Меншиков. Ягужинский Скорнякова, обер-прокурора, за волосья оттаскал, а Шафыров с Головкиным да светлейший ворами обзывались!.. Буча. Казус!.. Меншиков побег императрице жаловаться—по старому маниру. Были все зело шумны, после трактамента. Был при сем обер-фискал Мякинин, донес государю,—государь Екатерине Алексеевне говорил:—Меншиков-де в беззаконии зачат, во гресех родила его мать и в плутовстве скончает живот свой, а ежели не исправится, быть ему без головы.—Дебош пошел с трактамента. Алексашка теперь плачет у царицыных ножек—нюхает.

Зотов снова захохотал, рухнул пьяно головой о стол.

— Дурак! — сказал Толстой.—Не зришь-бо, монстра сия стоит со словом государевым.

Пьяное, красное лицо Зотова моментально побледнело, вытянулось, соскочили веселость и хмель. Зотов встал, взглянул на Толстого. Толстой трусливо улыбнулся.

— Понеже, ваше благородие...

— Ваше сиятельство!..—голос Зотова дрогнул.

Толстой трусливо подошел к двери, дернул веревку от колокольца—в подземельи зазвенел глухо колокол. Вбежал солдат.

— Фузель!—крикнул Толстой, и обратился к старику.—Поди сюда, сукин сын! Когда...

Его перебил Зотов.

— Иди, егда глаголят!—крикнул визгливо, ударил старику по лицу, бритые губы Зотова ощерились.

Вбежал солдат с фузелью, стал во фронт. Вдруг старики упал на колени, пополз к ногам Толстого, заскулил по-собачьи, заплакал. Масленка чадила тускло и смрадно.

— Сыночник, грахф!.. сми盧стуйся, не стрели, не стрели, каса-атик!..

Толстой отодвинулся, сожмурил глаза, скомандовал:

— Пли!

Старик завижал, пополз к углу, фузель сначала дала осечку, затем грязнула, как пушка, метнулся дым, потухла масленка, старики смолкли. Солдат поспешно высек огниво. Затылок и ухо старики были разбиты, конвульсивно подергивались ноги. Граф трусливо раскрыл глаза, покойно сказал:

— Повесить сего старика на Фомином острову за кронверком у Татарской слободки на иву, где оный объявился,—для показу.

Когда Толстой и Зотов выходили из застенка и за ними поднялся мост, Толстой шепотом сказал:

— В тайную канцелярию доставлено есть письмо енерал-адмирала Апраксина, оный пишет: „истинно во всех делах, точно слепые, бродим и не знаем, что делать. Во всем пошли великие расстрои и куда прибежать и что впредь делать, не знаем. Все дела, почитай, останавливаются“. Мятеж и разбой.

Над Санктпетербургом стоял туман, густой, как стужа. За рекой, должно быть, в Астории, гремел оркестр. До дому Зотов не добрался, заблудился, залез в какой-то шалаш и там заночевал. Были в нем тоска и боль.

Утром гвардии офицер Зотов получил приказ отправиться в Московской провинции коломенский дистрикт комиссаром, „дабы ввести добный аншталт“. Зотов три дня пьянствовал и ускакал на перекладных, с государевой эпистолью: вопросы „коммуникации“ не принимались в расчет, когда скакали по указу государеву.

Глава третья.

Сейчас же за Санктпетербургом, отскакав от него верст восемьдесят, переправляясь под Тосной на пароме через реку, гвардии обер-офицер Зотов почувствовал, что он в настоящей, подлинной, древней России, что в Рос-

ции Великий пост, над Россией русская наша обильная, тихая, благодатная весна.

Тракт от Санктпетербурга до Тосны напоминал военную дорогу, валялись людские и конские скелеты, поломанные возки, рубленый лес. На Тосне перевозчики говорили о разбойниках, напавших регулярным строем,— и Зотов не мог понять, говорится ли это просто о разбойниках или о царских солдатах. За Тосной, около корчмы на лугу в грязи валялись кандалники и работные людешки: тут их брили, дабы не попались они бородатыми на глаза государю. Закат был багряным, весенний ветер ласкал тихо, земля, родящая, разбухла обильно. В корчме подали постное. За рекой звонил великопостный колокол. За открытым окном кто-то тоскливо пел:

А и Петра, что щелканице,
С князей брал по сту рублей,
С бояр по пятидесяти,
С крестьян по пяти рублей.
У кого денег нет—
У того дитя возьмет.
У кого дитя нет—
У того жену возьмет!
У кого жены нет—
Того самого с головой возьмет!..

Вечер пришел тихий и ясный. Над рекою летали стрижи, купаясь в тихих, красных вечерних лучах.

Над землею творилась весна, творился Великий пост,— и Зотов почувствовал остро,—что если в Санктпетербурге, за разгулом, воровством, жульничеством, жестокостью, за лихорадками и туманами, хоть глупая, но все же была мысль стать подобным Европейской державе,—то за Санктпетербургом, в огромной России были единые разбои, холуисты, безобразие и бессмыслица. Два раза изменен-

ное местное управление, налоги, подушная, расквартирка по селам полков, натуральные поборы, наборы, солдатчина,—все спутало, перепутало, затуманило здравый смысл. Комиссары, земские и военные, ландраты, ландрихтеры, кондидаторы, провиантмейстеры, губернаторы, воеводы—мчались по своим дистриктам и провинциям, загоняя, в зависимости от аллюра и чина, тройки или шестерки, взыскивали, пороли, вешали,—бритые, похабные больше, чем татарские баскаки, похабничающие спьяна надо всеми со всеми. Крестьяне боялись, как чуму, новую эту бритую бюрократию, всегда пьяную и говорящую на помеси русско-немецкого языка. Вырастало целое поколение, и было знаемо, что Россия все воюет— с турками, со шведами, персами, сама с собою—с Доном, Астраханью, Заволжьем. Набор шел за набором, налог за налогом. Тащили с церквей колокола, обкладывали податью—хомуты, бани, борти, гроба, души. Шли недоборы, нехватка рук, голод, блудили солдатки,—солдаты, убегая, приходили зараженные сифилисом, пьяные, забитые, озлобленные, жили разбойниками в лесах. Старая кононная, умная Русь, с ее укладом, былинами, песнями, монастырями,—казалось,—замыкалась, пряталась,—затаялась на два столетия.

В одной деревне, уже за Мстой, в Валдае, к повозке Зотова бросилась баба, закричала безумно, запричитала:

Охти мне, да мне тошнешенько!
Кабы мне да эта бритва навостреная,
Не дала бы я злодейской этой нечисти
Над моим сыночком надругатися..
Распорола бы я груди этой некрести,
Уж я вынъяла бы сердце то со печенькою,
Распластала бы я сердце на мелки куски,
Я нарыла бы в корыто свиньям месиво,
А и печень свиньям на угождение!

— Што орешь, монстра волосатая?!—отозвался Зотов.
Баба бросилась под колеса, завизжала:

— Пори мои грудыньки, коли мои глазыньки,—отдай
мово дитеньку-у!.. Будь мое слово выше горы, тяжеле
золота, крепче камня Алатыря... Чорт страшный, вихорь
бурный, леший одноглазый, чужой домовой, ворон вещий,
ворона-колдунья, Кошкой-Ядун, — лютый антихрист Пе-
тра-а-а!.. А придет час твой сме-ертный!..

Деревня лежала на склоне холма, росли клены, избы
были под соломенными крышами, хмуро, слепо грелись
на солнце. Был полдень, весенний жар. Звенели жаво-
ронки. Была весна, кричали грачи, вечерами токовали в
лесах глухари, совы кричали, филины ухали, дули воль-
ные ветры, полошились реки, мужики собирали бороны-
схи, пели девушки на косогорах.—Баба вопила долго,
пока не скрылась деревня, пока не встал впереди на
горе белый пятиглавый монастырь. Кругом под небом
были леса, поля, суходолы.

За Москву, в коломенский дистрикт гвардии офицер
Зотов прискакал на страстной и сейчас же поскакал по
уезду. В великий четверг, к вечеру был у Погоста Бе-
лые Камни на местных солдатских квартирах. Верно,
мужики и солдаты были предупреждены, потому что сол-
даты, очень оборванные и небритые, встретили его ба-
рабанным боем и подали рапорт, а мужики, очень испу-
ганные,—хлебом-солью и челобитной. Гвардии офицер
Зотов остановился на съезжей, „дабы добрый аншталт
внести“,—но к нему пришли священник и местный дво-
рянин Вильяшев, просили прийти ко всенощной и затем к
священнику разделить вечернюю трапезу.

Белая, ставленная из известняка, церковка стояла на
холме, над Окою, за нею лежали леса, луга, вечный
простор. Слюдяные оконца смотрели в землю, со стен
глядели темные, строгие лики. Зотов давно уже не был

в церкви, в Санктпетербурге церковное служение было
увеселением,—поразили суровость, простота, благочиние.
Стоял со свечею неподвижно. Обнищавшие, оборванные
мужичонки молились истово, бесшумно. Свечи под сводами
горели неярко, служба была долгой. Из церкви вышли,
когда уже стемнело, атласное синее небо вызвездилось
четкими звездами. На лугу у реки кричала медведка,
перекликались во мраке на полях коростели, издалека
доносилось чуфырканье глухарей.

В избе священника стены мазаны были глиной, горела
лучина, священник принес меду, черного хлеба и клю-
чевой воды. Сел напротив, расправил бороду,—Зотов
приметил, что лицо священника утомленно, в глазах
тоскование; боль и—вера, священник был высок, уже
не молод, держался строго, покойно. Вильяшев, в одно-
рядке, с бородой, стал у печки, в тени.

— Чем-богаты... — сказал священник,—в Санктпетер-
бурге-городе, чай, новостей зело много...

Зотов поставил эспадрон свой в угол, поклонился,
сел, заговорил.

Разговор их был недолог.

— Отбыв из Парадиза, поражен весьма был ску-
достью народной, ибо кругом стон, вопль, мздоимство и
дебошанство.

— Та-ак, — в один голос сказали и священник, и
Вильяшев.

— Государь его величество наречен императором. В
Санктпетербурге викториальные торжества. Шляхетство
есть без всякого повоира и в конзилиях токмо спектаку-
лями суть. Его величество правит без резону, по бизарии
своего гумору...

— Та-ак... Темно ты говоришь, барин... Та-ак...—свя-
щенник помолчал, поправил темную свою рясу и крест
на груди. — Вкуси меду... А правда ли, глаголят, что

государь чудит, как юродивый, — молится на шутейшем-пьянейшем соборе чубуками, уду подобными, крестом никоновым сложенными?.. Правда ли, что государь на блядюшке Меншиковой женат и паки имеет гарем, по тюркскому обычаю?.. А знаешь, что солдаты здешние квартирный весь народ, мужиков, — всех батогами перепороли, за бабенку распутную... Знай!! Погоди. Знаешь, что в песне поют,— „это не два зверя собралися,—народ поет,— это правда с кривдой сохватились, промежду собой они дрались-бились... Кривда правду пересилила. Правда пошла на небеса, а...—а кривда харею немецкой рыщет...“ Знай!! Знай, что не царь у нас, но антихрист, — головой запрометываєт, падучий... На бани, избы, гробы, хомуты— подать?!

— Государя моего поношение слышать аз некопабель,— нерешительно сказал Зотов.

Его перебил священник, — встал, левой рукой взял крест, правую поднял.

— Погоди. Отец мой в оный болотный город пошел, правду искать,—не слыхал про Тихона Старцева? — отец мой...

— Поношение государя моего слышать аз некопабель,— сказал Зотов грозно и — стал краснеть, упорно, кумачево, плотное его лицо, бритые губы покрылись потом. Встал, смял кулаки. — Поношение государя моего...

— Тихон Старцев... Старцев — не ведаешь?.. Али — с волками жить—по-волчьи выть?..

— По-волчьи выть? — переспросил Вильяшев.

Гвардии офицер Зотов, пряча огромные свои кулаки назад, попятился к двери, захватил эспадрон и вышел спешно, стукнувшись лбом о притолоку. Вслед ему крикнули:

— По-волчьи, — а?!

Над горизонтом меркнул последний пред пасхой, красный, скорбный диск луны, были тишина и мрак. Кричала под горой у Оки медведка. Церковь, вросшая в землю, крестом уходила в небо. Зотов набил трубку, высек искру. В смятении, в воспоминании об отце своем (шутейший, пьянейший собор...), о Тихоне Старцеве — тоже отце, о Петре, о России, от которой он оторван был уже навсегда и которую любил, как мать, утерянную в детстве, — он понял, что бы он ни писал в свой журнал, — он обречен выйти по-волчьи, скулить, как те волки, что Петр травил на Мистула-Елагином острове.

Шла страстная ночь.

Глава четвертая.

Человек, радость души которого была в действиях. Человек со способностями гениальными. Человек ненормальный, всегда пьяный, сифилит, неврастеник, страдавший психостеническими припадками тоски и буйства, своими руками задушивший сына. Монарх, никогда, ни в чем не умевший сокращать себя — не понимавший, что должно владеть собой, деспот. Человек, абсолютно не имевший чувства ответственности, презиравший все, до конца жизни не понявший ни исторической логики, ни физиологии народной жизни. Маньяк. Трус. Испуганный детством, возненавидел старину, принял слепо новое, жил с иностранцами, съехавшимися на легкую поживу, обрел воспитание казарменное, обычаи голландского матроса почитал идеалом. Человек, до конца дней оставшийся ребенком, больше всего возлюбивший игру, — и игравший всю жизнь: в войну, в корабли, в парады, в соборы, иллюминации, в Европу. Циник, презиравший человека и в себе, и в других. Актер, гениальный актер. Император, больше всего любив-

ший дебош, женившийся на проститутке, наложнице Меншикова,—человек с идеалами казарм. Тело было огромным, нечистым, очень потливым, нескладным, косолапым, тонконогим, проеденным алкоголем, табаком и сифилисом. С годами на круглом, красном, бабьем лице обвисли щеки, одрябли красные губы, свисли красные—в сифилисе—веки, не закрывались плотно; и из-за них глядели безумные, пьяные, дикие, детские глаза, такие же, какими глядит ребенок на кошку, вкалывая в нее иглу или прикладывая раскаленное железо к пятаточке спящей свиньи: не может быть иначе—Петр не понимал, когда душил своего сына. Тридцать лет воевал—играл в безумную войну—только потому, что подросли потешные, и флоту было тесно на Москве-реке и на Преображенском пруде. Никогда не ходил—всегда бегал, размахивая руками, косолапя тонкие свои ноги, подражая в походке голландским матросам. Одевался грязно, безвкусно, не любил менять белья. Любил многое есть, и ел руками,—огромные руки были сальны и мозолисты.

В Санктпетербурге, в пасхальную ночь, в начале четвертого часа пополуночипущена была у Зимнего дворца ракета и по этому сигналу запалили в Петропавловской и Адмиралтейской крепостях из пушек. На Кайвусарий-Фомином острове, в Троицком соборе, стали благовестить к заутрене, заиграл орган. Государь, государыня императрица, министры и вельможи, по регламенту, пасху встречали у Троицы. Петр был в черном сюртуке с роговыми пуговицами, в ботфортах, пел негустым своим баритоном на клиросе:—заутреня была задержана, ибо государь с вечера задремал. Когда пошли кругом церкви с крестами и хоругвями, Петр удалился распорядиться фейерверками: обер-фейерверкмейстер Демидов зажег масленки на огромном двуглавом орле, и из орла вылетела ракета, ударила во льва, зажгла его, лев рявкнул глухо и разлетелся на

куски: это означало, что орел—держава российская—победил льва—короля шведского, исконного врага, уничтожил львиные его замыслы. Запалили из пушек. Ночь была темная, безветреная, моросил дождь. За Кронверкским плацем, за Гостиным двором, на Татарской слободке, около своих юрт, около ивы с повешенным, лежали на земле в страхе киргизы и калмыки, пораженные орлом и львом. Пушки палили всю ночь. Еще с полночи поднят был штандарт. Мужчины хрюстосовались губным целованием, а с дамами указано было хрюстосоваться целованием руки. Тотчас после литургии перед церковью выстроились литаврщики, трубачи, гобоисты, барабанщики, приветствовали государя и пошли во главе шествия к Неве, чтобы на галерах переправиться в Летний сад, на Перузину-остров, где назначено было гуляние. Нева разбухла, щетинилась беляками, была пустынной, на кораблях горели тусклые фонари, пересвистывались дозорные.

Вечер пред пасхальной заутреней государь провел в Итalianском дворце, в рабочем своем кабинете. В комнате почти в уровень с головою растянута была парусина: государь болезненно не любил высоких комнат. На столе перед Петром горели свечи, был полумрак, пахло потом, водкой и сыростью. По углам, на столах, на подоконниках, в пыли, валялась всякая рухлянь, глобус, астролябия, фузели, модель корабля, ботфорты, стояли верстак в стружках, походная неудобная кровать. На полке рядами расставлены были в банках монстры и раритеты, заспиртованные уродцы людей и животных, тщательно собираемых Петром для куншткамеры, по указу—„о приносѣ родившихся уродовъ, такожъ найденныхъ необыкновенныхъ вещахъ, понѣже извѣстно есть, что какъ въ человѣческой породѣ, такъ и въ звериной и птичей случается, что рождаются монстры“. Петр сидел у стола и, локтем сдвинув на сторону бумаги, списывал из „Приклады, како пишутся

комплименты" поздравление в Москву, Ромодановскому, сидел сгорбившись, в колпаке, в нижней одной рубашке, пропотевшей под мышками и заплатанной. У дверей вытянулись денщики, смотрели по сторонам, как пристяжки.

Государь писал:

Высокопочтенный господинъ.
Во исполненіе моей чадской должности не могу оставить прі начатії Божію милостію св. Пасхи, вамъ всяко блага желать, да подастъ милость Всемогущаго, дабы вы, господинъ, не тощіо сей, но и многія последующія годы...

Не дописал, должно быть в расчете, что письмовник есть и в Москве. Подписался:

Вашива Величества нижайший рабъ.
Кнеев Piter Komandor.

В комнате прохрипела кукушка. Петр откинулся от стола, сказал:

— Слышь?

Полубояринов налево кругом вышел из комнаты, вернулся со стаканцем водки, огурцами и кислой капустой на подносе. Орлов расставил шахматы, двинул королевской пешкой, — тот Орлов, из-за которого погибла любовница Петра, Мария Гамильтон. Петр не был ревнив, охотно делил своих любовниц с друзьями. „Френская девка“ Мария утешалась с денщиками государя, с Орловым, — но она — любила Петра, государь ее казнил. Государь был при казни, он около эшафота попрощался с Марией, обняв ее. Она была в белом платьи с черными лентами. А когда палач отрубил голову, Петр поднял ее и наглядно разъяснял присутствующим анатомическое строение горла, затем поднес голову к своим губам, коснулся мертвых

губ губами своими, которыми раньше — девушку — целовал иначе, — перекрестился и ушел, — побежал на верфь, косолапя, размахивая руками, без шляпы, как всегда в теплую погоду.

Государь выпил водку, съел огурец, выдвинул тоже королевскую пешку, черного офицера коня. Коню удалось взять в вилку туру и королеву, — Петр громко захохотал. Но партии доиграть не удалось — пришел прибыльщик и прожектор, царский писатель, Митюков. Стоял около приземистой дверцы, постный, елейно кланяясь, в костюме на-прокат, в парике, из-под которого торчали собственные рыжеватые волосы.

Петр сказал:

— Guten Abend.

Митюков закланялся, как флюгер от ветра.

— Прими ла плас, — сказал Петр. — Место прими.

Тот сел на кончик стула, положив руки на колени. Из-за чужого ботфорта, который был велик, торчала грязная портнянка.

— Говори измышление свое.

— Ваше царское величество! Век служить тебе восхотев...

— Не мне, а государству, понеже сам служу, почав с первого Азовского похода бомбардиром. Говори сенс.

Мужичонко глубоко передохнул.

— Како обложены суть людишки померными налогами, хомутейными, шапошными, пчельными, там, банными, брадобрейными, — измыслил аз обложить весь народ курильным налогом, дабы курили все табак, а кто не восходит, должен дань платить, смотря по чести и чину.

Петр наклонился к Митюкову, взглянул дикими своими глазами в затрепетавшие его глаза, расхохотался, крикнул:

— Орлов!

Орлов вырос у стола, руки по швам.

— Посадить оного сего человека в камору и приставить дозорщика, дать ему трубку, дабы курил онный всю ночь канупер без останова. Смотреть неотлучно. Ежели стошнен будет—вытолкать в шею, двадцать батогов дав, ежели осилит, дать бумаги по утру, дабы писал проэкцию к вечерней моей аппробации.

Митюков обмяк, посерел, упал в ноги. Орлов схватил его за плечи и потащил в глубь комнаты к потайной двери. Петр хохотал весело, проводил до двери, заложив руки назад.

Полубояринов снова принес водки, государь выпил. Сел к столу, читал. Свечи горели тускло, чадили. Среди задрягзанного стола, где валялись корки, карты, бумаги, пепел, объедки огурцов, около инкрустированной шахматной доски, лежала огромная, мозолистая рука Петра, с ногтями на манер копытед. Петр сидел в тени. Вскоре пришел Орлов, доложил:

— Оный Митюков блюет, ваше величество.

Петр не ответил. Орлов взгляделся. Государь склонил сильно волосатую свою бабы-красную голову к спинке кресла, полуоткрытые глаза смотрели стеклянно,—государь спал. Захрапел тонким бабым присвистом. Орлов стал во фронт, стоя заснул. Легла тишина, храл государь. Как раз под государевым кабинетом в подвале блевал судорожно Митюков.

Утро пришло бледное, немощное, пустынное,— такое же пустынное, как осень. В Летнем саду на Перузине-Адмиралтейском острове было гуляние. Государь с утра был пьян. Государем указано было у ворот поставить стражу и никого не выпускать из сада до полуночи. Сад, построенный на заграничный манер, с чахлыми деревцами, с павильонами к Неве, с фонтанами, с охотничими домиками, острокрышими, крытыми черепицей, как голландские хибарки. День пришел серый, холодный, пустынный. Тра-

ктамент назначен был под открытым небом. Маршалом был государь. По аллеям пошли гвардейцы с ушатами сивухи и крашенными яйцами, царским подарком, поздравляли ковшом водки. Мужчины поместились за длинными узкими столами—в главном павильоне, дамы отдельно—у фонтана за Статуйной аллеей. Государь ел и пил стоя, по чину маршала остатки от тарелок выливал на голову дуре-княжне Голицыной. Перепивались быстро. На женской половине в питии не отставали, вскоре оттуда понесся визг: это императрица в припадке нежности (нежности ли? ненависти ли?) щекотала новую государеву галантку, фрельскую девку Румянцеву,—та брыкалась, визжала, остальные хохотали. Были женщины в нескладных, дорогих, домоштых платьях, не похожих ни на русские, ни на заграничные,—разве на костюмы голландских разбогатевших мещанок, жен матросов, весело гулявших без мужей. Прически у женщин порастрапались, дородные лица вспотели, порасползлись платья на сытых толстых телах. Запели визгливо разухабистую застольную, как поют, когда рубят капусту. Государь пьянел, мутнел медленно, приметил, что князь старик Трубецкой, склонный к старине, взял тайком вторую порцию сладкого,—закричал, призвал гвардейцев, раскрыл насильно рот старику и пичкал — в припадке — желе, пока у того не закатились глаза. Грязнула музыка к танцам, офицеры вскачь бросились на дамскую половину, женщины завизжали, сбились в кучу, мужчины заигрывали, толкались, хватали—с пьяна—за груди, пьяно топтались на месте в менуэт. Ягужинский, галант французский, подрался со своей новой женой. Иные из стариков уже спали, свалившись под столы. Попы мирно допивали остатки, попахивая кислой капустой. Новый князь-папа Бутурлин в малом павильоне благословлял орлом и удоподобным своим крестом. Государь командовал лакеями, готовил буфет с охладительными и ушаты с

водой для отливания омертвевших, новый сюртук его с роговыми пуговицами давно уже был засален и выпачкан в песке. Петр заходил ко князю-папе, выпил большого орла, прошел на танц-пляс, мутно поглядывал кругом, нахмурился, на глаза попадась Румянцева, по дряблым губам побежала улыбка, глаза с отвислыми веками стали буйными, — подбежал к Румянцевой, схватил, поднял на руки и, на бегу закидывая ее юбки и раздирая на ногах белье, побежал к охотничье му домику на верейке, уплыл в него, крикнул императрице:

— Катька! дура! экземпель! Повелеваем пребыть в силянсе.

Румянцева вышла через несколько минут, красная, потрепанная, поправляя платье, похожая на потоптанную курицу. К ней подошла императрица, зашептались.

Государь вызвал к себе на озеро Толстого. Сидел на столе, поставив тонкие свои ноги в чулках на диванчик, без сюртука, мутно улыбался. Толстой стал у двери, посматривая осторожно раскосыми своими, немигающими глазами.

— Петьяка. Ваше превосходительство... Раритет!.. Известно всем есть, что Ивашка Мусин-Пушкин батюшки моего государя сын. Моего отца признать не мочен, — бают, Тихон Стрешнев или дохтур. Понеже есть ты, ваше превосходительство, начальник тайной канцелярии, дознать сие неотложно, обополы, без всякого предика.

— Слушаюсь, батюшка.

— Кабель! Не батюшка, а — император... Понял?.. Понеже иного дела не имеете, точию одно правление, которое ежели неосмотрительно делать будете, то перед богом, а потом и здешнего суда не избежите... Погоди. На Фомином острову пойман был раскольник, предрекал онный потоп и мою подмену. Где онный раскольник?

— Казнен, ваше величество.

— По чьему указу? каковы циркумстанции? Когда потоп предрекал?!!

— Не сказал, ваше величество. Гвардии офицер Зотов при сем был, возмущен был словесами. Из фузели... — немигающие глаза Толстого быстро замигали.

Петр встал, судорожно натянувшаяся правая нога откинулась назад, лицо обезобразилось судорогой, подбородок свернуло к плечу, глаза смотрели дико, беспомощно и больно.

— По чьему указу? какими регулями? — бунт? — Толстого четвертовать. Зотова на дыбу!..

Толстой шмыгнул из двери, не заметил лодки, бросился в воду, кричал императрице:

— Матушка, — томен!..

Екатерина поплыла к Петру. Петр стоял, размахивая руками, подбородок его судорожно склоняло налево, сажало на плечо, глаза были дикими и беспомощными, как у ребенка. Одна Екатерина могла его успокаивать в такие минуты. Взяла обеими руками голову Петра, прислонила к груди, почесывала тихо за ушами. Села, посадила около государя, прислонила голову его к обильным своим коленам, почесывала. Государь заснул беспомощно, как ребенок.

На пустынной Неве, широко разлившейся и холодной, катались на яликах матросы. Негусто трезвонили на редких колокольнях. На Васильевом-Хирвисари острове, на самой стрелке, где торчали редкие сосны, работные людшки, парни и девки водили хороводы.

Пошел дождь. Вельможи прятались по павильонам и беседкам, ибо у ворот стояла стража, которой указано было не пускать никого с трактамента до полуночи. Нева ощетинилась, холодно обвеивал мокрый ветер. Шел серый, сырой, болотный санктпетербургский пасхальный день.

У Николы, что на Белых Камнях, в тот день шли широкие, теплые ветры. Над землею, над полями, лесами,

суходолами, поемами, реками,—русскими нашими,—творилась весна, великая земная радость. Обильное солнце поднялось красно и радостно. В светлый день пели девушки веснянки. У Николы, под солнцем, и ночью до нового солнца пели девушки. Красными сарафанами одевались утренние зори, болотными купавами меркли зори вечерние. Пели девушки:

Оболокусь оболоками,
Подпояшусь красною зарею,
Огорожусь светлыми месяцами,
Обтычусь частыми звездами,—
Освещусь я красным солнышком!..

Ой, ударь ты, гремучий Гром, огнем-полымем!
Разогрей ты, громова стрела,
Нашу матушку, Мать-Сыру-Землю!..

Девушки пели тогда, чтоб пропеть два столетия.

Коломна—Никола-на-Посадьях,
Починки под Богородском.
Май 1919 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Наследники	7
Метель	19
Лесная дача	55
Три брата	77
Рассказы о морях и горах	91
Вещи	117
Смерти	123
Целая жизнь	135
Санкт-Петербург	149
Тысяча лет	173
Его Величество Кнеев Piter Komandor	183

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Наследники: 1) в журнале „Рабочий мир“, Москва 1919; 2) в „Агит-Роста“, Москва 1919; 3) в сборнике „Былье“; 4) в сборнике „Смертельное манит“, из-во Э. И. Гржебина, Москва 1922 г.

Метель: 1) в альманахе „Пересвет“, Москва 1922; 2) в журнале „Эпопея“, Берлин 1922; 3) в сборнике „Никола-на-Посадьях“.

Лесная дача: 1) первоначальный вариант, под заглавием „Половьё“— в альманахе „Сполохи“, Москва 1917; 2) в журн. „Красная Нива“, Москва 1923; 3) в сборнике „Никола-на-Посадьях“.

Три брата: 1) в журнале „Культура и Жизнь“, 1921; 2) в альманахе „Веретено“, Берлин 1922; 3) в сборнике „Никола-на-Посадьях“.

Рассказы о морях и горах: 1) в журн. „Красная Нива“, Москва 1921; 2) в журнале „Сполохи“, Берлин 1922 г.; 3) в сборнике „Никола-на-Посадьях“.

Вещи: 1) в газете „Утро России“, 1917 г.; 2) в сборнике „Смертельное манит“.

Смерти: 1) в журнале „Творчество“, Москва 1917; 2) в книжечке „С последним пароходом“; 3) в журнале „Жар-Птица“, Берлин 1922; 4) в сборнике „Смертельное манит“.

Целая жизнь: 1) в журнале „Русская мысль“, СПБ., 1916 г.; 2) в книжечке рассказов „С последним пароходом“, из-во „Творчество“ Москва 1918; 3) в сборнике „Былье“ (под заглавием „Над оврагом“); 4) в сборнике „Смертельное манит“.

Санкт-Петербург: 1) в сборнике „Никола-на-Посадьях“, 2) отдельной книжечкой в Берлине, в из-ве Геликон, 1922 г.

Тысяча лет появлялась в печати: 1) в журн. „Путь“ Цекпрофсожа, Москва 1919 г.; 2) в сборнике рассказов „Былье“, из-во „Звенья“, Москва 1920 г.

Его Величество Кнёев Piter Komandor появился в печати: 1) в сборнике „Былье“; 2) в сборнике „Никола-на-Посадьях“, к-во „Круг“, Москва 1923 г.; 3) отдельной книжечкой в Берлине, в из-ве Геликон, 1922 г.

КНИГИ БОР. ПИЛЬНЯКА

Том I.—Голый год (роман).

Том II.—Повести (1920—1923).



04.9.016/
5/81

